

Изабель де Штейгер



ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСКИ

Воспоминания художницы
и писательницы

Изабель де Штайгер

**Памятные записки. Воспоминания
художницы и писательницы**

«Автор»

2026

де Штайгер И.

Памятные записки. Воспоминания художницы и писательницы /
И. де Штайгер — «Автор», 2026

Изабель де Штейгер (1836–1927) — английская художница и писательница, чья жизнь уместила три эпохи. Дочь ливерпульского солиситора, она выучилась живописи в годы, когда женщине в Англии это еще стоило скандала: своя студия, обнаженная натура, отказы жюри и своя цена за упрямство. На ее памяти Викторианская Англия от Всемирной выставки 1851 года до джаза. Она бывала в салоне леди Уайльд и знала ее сына Оскара, училась у Холмана Ханта, гостила у лорда Гофа, а Рескина читала сперва с яростью, потом с благодарностью. Вторая половина ее жизни прошла в кругах, куда редко заглядывают биографы: Теософское общество, спиритические сеансы, алхимия. Она была знакома с Еленой Блаватской и Анни Безант, с Анной Кингсфорд и Мэри Энн Этвуд — и говорит о них без придворного подобострастия. Мемуары, начатые на семьдесят пятом году и завершенные на девяностом, — редкое свидетельство о том, как женщина XIX века отвоевывала право на собственный взгляд.

© де Штайгер И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	6
ВВЕДЕНИЕ	10
ГЛАВА I. МОИ ПРЕДКИ	14
ГЛАВА II. РАННИЕ ГОДЫ	20
ГЛАВА III. ДЖЕННИ ЛИНД, РЕСКИН И ДРУГИЕ	28
ГЛАВА IV. АЛЬФРЕД ХАНТ. ВЕЛЛИНГТОНСКИЕ ЗАЛЫ	33
ГЛАВА V. ЗАМУЖЕСТВО	39
ГЛАВА VI. СТАРЫЙ ЛИВЕРПУЛЬ	42
ГЛАВА VII. ШВЕЙЦАРИЯ И ЕГИПЕТ	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Изабель де Штайгер
Памятные записки. Воспоминания
художницы и писательницы

ТРЕМ ДОРОГИМ ДРУЗЬЯМ МОЕЙ ПОЗДНЕЙ ЖИЗНИ —

Х. Д., У. Ф., Дж. Б. —

ПОСВЯЩАЮ ЭТУ КНИГУ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Кончина Изабель де Штейгер пришлась на первый день 1927 года¹. Она достигла завидного возраста девяноста одного года и, насколько мне известно, сохраняла ясность ума до самого конца. Само по себе это выдающееся достижение для человека, ведущего умеренно активный образ жизни. Однако я упоминаю об этом прежде всего потому, что данные Мемуары, как станет ясно из текста, были начаты около пятнадцати лет назад; автор время от времени откладывала их и вновь возвращалась к работе после долгих перерывов, из-за чего складывается впечатление, что написанное ранее не всегда в полной мере удерживалось в ее памяти. Как следствие, местами в тексте встречаются небольшие повторы, которые, впрочем, вряд ли станут серьезным препятствием для читателя.

В каком-то смысле эта автобиографическая хроника с самых первых страниц становится — по крайней мере для меня самого — удивительным зеркалом памяти. Здесь есть отсылки к Католической апостольской церкви, все еще окутанной духом Эдварда Ирвинга; к Гарриет Бичер-Стоу и ее «Хижине дяди Тома» до того, как она «обрела всемирную славу»; к сентиментальному «Фаддею Варшавскому», навевающему мысли о других подобных произведениях — «Шотландских вождях», «Изгнанниках Барры», Реджине Марии Рош и ее «Детях аббатства», не говоря уже о книгах (и их авторах) совершенно иного масштаба, таких как «Консуэло» Жорж Санд. Эти страницы причудливо воскрешают призраки моего собственного прошлого, хотя даты нашего с мадам де Штейгер рождения разделяют десятилетия. Более того, они приходят отнюдь не поодиночке: вслед за ними появляются мадам де Сталь с ее «Коринной, или Италией», Уолпол с «Замком Отранто», миссис Рэдклиф и «Роман в лесу». Могу себе представить, что Тайное общество из «Консуэло» во главе с графом Альбертом подсознательно повлияло на дальнейший жизненный путь той, что зачитывалась этой книгой в юности, — повлияло даже сильнее, чем мифический Альтотас и маг Калиостро из «Записок врача». Впрочем, роман Дюма особо упоминается ею как произведение, которое в более поздний период подтолкнуло ее к изучению спиритизма, пробудило интерес к идеям современной теософии и, в конечном счете, привело в храмы Амона-Ра и Исиды-Урании под именем и эгидой Розового Креста. Несомненно, книги направляют нас не только в явном виде, но и скрыто, на уровне подсознания, и может случиться так, что наиболее сильное влияние на нас оказывают не те труды, которые мы штудлируем целенаправленно, а те, что читаем ради досуга. Я часто размышлял о том, сколь многим в собственной жизни я обязан детскому знакомству с Сокровенным городом Худом из истории Хасана Абдаллаха в переложении мисс Пардо из сборника «Тысяча и один день».

Я перечисляю все это, чтобы указать на те узы духовного родства, что подобны «электрической цепи, коей мы незримо скованы». Трудно не разделить то любопытство и трепет, которые в юности испытывала Изабель де Штейгер перед шифром *L.P.D.* вымышленного Тайного ордена Жорж Санд, ведь я сам исследовал историю этих инициалов во французских масонских степенях эпохи Революции и анализировал значения слов, которые, как принято считать, за ними скрывались. Существуют различные толкования: *Liberté de passer* («Свобода прохода»), поскольку эти буквы начертаны на мосту, выступающем в качестве символа, — как разрешение на переход из одного состояния в другое, более желанное, на вступление в Землю обетованную и тому подобное; или же *Lilia Pedibus Destrue* («Топчи лилии ногами»), что символизирует переход от тирании монархии к республике свободы, равенства и братства.

¹ Уэйт здесь ошибается: Изабель де Штейгер родилась 28 февраля 1836 года и умерла 1 января 1927 года, то есть ей было девяносто лет. (Прим. переводчика)

Но если таковы связующие нити, возникающие в самом начале книги, то последующие страницы пробуждают во мне куда более глубокие воспоминания, поскольку повествование переходит от жизни юной девушки к судьбе взрослой женщины и ее деятельности в так называемых эзотерических кругах ее и моего времени. Среди упомянутых ею имен едва ли найдется такое, которое не принадлежало бы человеку, знакомому мне лично, а зачастую и весьма близко. Исключение составляет разве что Анна Кингсфорд, которая уже стояла на пороге иного мира в то время, когда я только начинал возвращаться в этих кругах. Столь тесная связь и должна служить объяснением тому, почему эти вступительные слова выходят за моей подписью. Те, кто прочтут эти Мемуары и найдут в них зеркало для собственных воспоминаний, не потратят время впустую и наверняка получат истинное удовольствие. Однако в тексте есть несколько пробелов, которые необходимо восполнить ради молодого поколения, имеющего лишь смутное представление о некоторых весьма известных и значимых личностях конца девятнадцатого века.

Говорят, что влияние, некогда оказанное — и широко провозглашенное — книгой «Совершенный путь» (*The Perfect Way*), живо и по сей день. И, насколько я могу судить, тот факт, что о ней теперь вспоминают редко, ничуть не умаляет глубины ее воздействия в узких кругах. По всей видимости, для мадам де Штейгер этот труд значил очень много, а его главный автор — вероятно, еще больше. Книга преподносилась как «Евангелие Толкования» — особое прочтение Священного Писания, и в первую очередь Нового Завета. Однако основополагающим трудом этого движения стала вторая публикация под названием «Облеченная в солнце» (*Clothed with the Sun*), представлявшая собой «Озарения Анны Бонус Кингсфорд». Я всегда буду считать ее одной из прекраснейших книг плодотворной викторианской эпохи. Насколько я помню, эти «Озарения» были получены и облечены в слова либо в состоянии месмерического транса, либо в каком-то схожем состоянии. Этот процесс напоминал — если исходить из соответствующих гипотез их создателей — то, как «Божественные откровения Природы» были «переданы» Эндрю Джексону Дэвису (или через него), или как создавались декламаторские поэмы Томаса Лейка Харриса, такие как его «Лирика Золотого века». Именно «Озарения» послужили тем материалом, на основе которого миссис Кингсфорд в соавторстве со своим дядей Эдвардом Мейтлендом создала «Совершенный путь». При этом я полагаю, что фактическим или, по крайней мере, основным автором самого текста, адаптировавшим исходный материал, был именно Мейтленд.

К сожалению, на более позднем этапе «Евангелие Толкования» скатилось в полнейший абсурд. Зачатки этого процесса прослеживаются в некоторых статьях, опубликованных в «Неведомом мире» (*The Unknown World*) — ежемесячном журнале, некогда выходившем под моей редакцией. Своего апогея эти тенденции достигли в претензиях на полное дословное боговдохновение, которые Мейтленд выдвинул в своей книге «Жизнь Анны Кингсфорд». Если же говорить о «Евангелии» в его лучших проявлениях, то оно опиралось на главный тезис о том, что Библия является «герметической книгой» и запечатана именно потому, что «написана притчами, аллегориями и символами, требующими ключа для их разгадки». Утверждалось, что этот скрытый смысл кардинально отличается от буквального прочтения — идея довольно старая, однако получившая здесь новое и весьма оригинальное развитие. Следует добавить, что «все трудности и заблуждения, возникшие в связи с религией» (очевидно, имеются в виду иудаизм и христианство) якобы «проистекают из предпочтения Буквы Духу», а не, как можно было бы подумать, из-за отсутствия надлежащего (или вообще какого-либо) критерия для оценки истинной природы этого внутреннего смысла. В любом случае, этот столь необходимый ключ был предоставлен «Озарениями» миссис Кингсфорд. Если отделить саму суть этого учения от позднейших наслоений (изрядная доля которых порождена необузданным полетом фантазии), в его основе обнаружится доктрина всего западного мистицизма: Спаситель-Христос — это Тот, Кто зарождается и формируется внутри нас. Однако, согласно толкованию Кингсфорд,

Он формируется в нас благодаря сопричастности Божественной Личности, изливающейся на душу, и потому все сводится к доктрине разделения, а не слияния, несмотря на декларацию о «сущностной тождественности» Христа и души.

Каждому читателю станет очевидно, что определяющее влияние на формирование интеллектуального мировоззрения мадам де Штейгер оказала миссис Этвуд. Феномены спиритизма сформировали у нее определенные убеждения — по крайней мере, в отношении самих фактов, а при жизни мадам Блаватской немалую роль сыграли и идеи теософии. Настал также день, когда на горизонте масштабной фигурой, как светило первой величины, возникла антропософия доктора Рудольфа Штайнера. Но знакомство с миссис Этвуд (обстоятельства которого здесь подробно изложены) стало для нее своего рода незримым, но неизменным присутствием, сопровождавшим ее от начала и до самого конца — и даже спустя долгое время после того, как эта дама ушла из жизни. Любопытно, однако, что у непосвященного читателя останется лишь смутное представление о характере этого влияния и о том, из чего оно проистекало.

Чтобы прояснить этот момент, необходимо пояснить, что труд под названием «Многозначительное исследование герметического таинства» (*A Suggestive Enquiry concerning the Hermetic Mystery*) был анонимно опубликован в Лондоне еще в 1850 году; в подзаголовке он описывался как «попытка восстановить Древний Эксперимент Природы». Едва в свет вышло несколько экземпляров, как книга была не только полностью изъята из продажи — весь тираж был уничтожен самой писательницей с одобрения ее отца, мистера Саута, который также был ревностным исследователем герметической и алхимической литературы. Причина такого шага заключалась в том, что, по их мнению, книга раскрывала слишком многое и могла стать орудием во зло. Ведь под «древним экспериментом» подразумевались отнюдь не физические опыты, а, напротив, поиск «сознательного и ипостасного союза разумной души с Божеством и ее соучастия в жизни Бога». Иными словами, алхимики не были химиками своей эпохи и не закладывали основ химической науки. И хотя предполагается, что они могли осуществлять — и действительно осуществляли — трансмутацию металлов, достигалось это не лабораторными методами, а силой освобожденной и божественно просвещенной души, воздействующей на материю. Предполагалось, что подобное освобождение происходило в состоянии транса, напоминающем месмерический сон. Статью мадам де Штейгер «Герметическое таинство», напечатанную в «Трудах Алхимического общества», следует рассматривать как защиту этих взглядов и их краткое изложение с ее собственной позиции — позиции человека, долгие годы изучавшего идеи миссис Этвуд и состоявшего с ней в переписке. К сожалению, обзор алхимической литературы — начиная с ее предполагаемых истоков в Византии и вплоть до конца XVII века — не дает никаких оснований в поддержку этой гипотезы как универсального ключа к трактовке дошедших до нас текстов. Напротив, он указывает на то, что духовный или мистический взгляд на герметизм берет свое начало с Генриха Кунрата и Якоба Беме — в ту пору, когда шестнадцатый век подходил к своему бурному завершению в Германии. Впрочем, тех, кто желает глубже изучить этот вопрос в свете высказанной критики, я отсылаю к моей книге «Тайная традиция в алхимии», где я постарался рассмотреть его максимально исчерпывающе, затронув все сопутствующие проблемы.

В заключение должен добавить: по мнению многих (к числу которых мне хотелось бы причислить и себя), главным вкладом мадам де Штейгер в мистическую литературу, обогатившую последние десятилетия XIX века, стал ее перевод книги советника фон Эккартсгаузена «Облако над святилищем». Впервые он публиковался частями в журнале «Неведомый мир» с некоторыми примечаниями миссис Этвуд, затем был переиздан отдельной книгой с предисловием Дж. У. Броуди-Иннеса, а впоследствии я сам подготовил к печати два его расширенных и пересмотренных издания. Этот труд вызывает непреходящий интерес и изобилует глубокими мыслями, рожденными из неисчерпаемого источника внутреннего опыта. Те, кто знают и ценят

эту книгу, понимают, сколь глубокую признательность они должны испытывать к той, благодаря которой она стала доступна на английском языке.

Артур Эдвард Уэйт

ВВЕДЕНИЕ

Думаю, большинство людей, которым попадает на глаза изречение «Познай самого себя», считают его излишним. Они говорят: «Уж себя-то, свои сильные и слабые стороны, я знаю досконально». Я же придерживаюсь иного мнения на этот счет, и мое Введение написано с намерением убедить излишне самоуверенных людей в том, что «познать себя» — это величайшая редкость. Будь это иначе, подобный призыв был бы совершенно бесполезен — он остался бы лишь фразой с налетом глубокомыслия, которой мыслители былых времен украшали свои речи.

Я пишу эти строки на девяностом году жизни и только сейчас начинаю по-настоящему узнавать себя. Хотя раньше мне казалось, что я знаю себя превосходно. В двадцать один год я совершенно ясно понимала, что я собой представляю; с каждым десятилетием я накапливала опыт и знания, пока, обретя большую мудрость, не зашла, так сказать, в тупик. Я вдруг осознала, что на самом деле очень мало знаю как о себе, так и о ком-либо другом.

Единственные, кому я не нахожу оправдания, — это люди, ленивые по своей природе. Эта черта, на мой взгляд, лишь служит прикрытием для скрытого тщеславия тех, кому не хватает духу признать свои недостатки иначе, как посредством лицемерно-скромных заявлений о том, что природа якобы обделила их «силой ума», с непременным намеком на то, что, по крайней мере, их вины в этом нет.

Долгая жизнь убедила меня: эта эгоистичная и глупая отговорка не имеет под собой никаких реальных оснований. Нет ни одного человека, в каком бы возрасте он ни находился, которому хотя бы на пять минут доставило удовольствие осознание того, что его мнения и идеи в высшей степени тривиальны, и который именно поэтому был бы готов терпеливо и без немедленных возражений или отрицания выслушивать какое-нибудь новое мистическое, христианское или индуистское учение. Но если ему все же удастся сохранить непредвзятость, он обнаружит, как в его разуме приоткрывается некая дверь, обнажая то, что до поры дремало в любом сознании, и в особенности — в том, которое принято называть христианским. В силу своего темперамента человек страшится перемен, не осознавая при этом собственной ограниченности.

Меня лично природа наделила самым обычным умом, и по своему темпераменту я склонна уклоняться от монотонной работы или упорного, терпеливого труда. Однако я никогда не заглушала в себе инстинкт (назову это так), влекущий к более высоким идеям и мыслям.

Долгое время я, поддаваясь старческой лености и природной нерасположенности к рутине, избегала весьма утомительной задачи — обстоятельно и по порядку разобрать свой письменный стол и переполненные ящики бюро. Сама мысль об этом вызывала у меня сильное отторжение. В действительности это нежелание происходило из стойкого ощущения, что в роли героини собственной жизни я могла бы выступить разве что в весьма посредственном качестве. Мой долг заключался в том, чтобы, излагая эти сухие, словно скелет, заметки о себе, рассказать главным образом о полноценных, значимых и поистине эпохальных жизнях столь многих людей, с которыми я тесно соприкасалась, в особенности после того, как овдовела в 1870 году. Но поскольку с тех самых пор я постоянно находилась в обществе мыслителей и исследователей духовного мира, я все же переборола свою неохоту и взялась за работу.

Теперь, на закате дней, я чувствую потребность упомянуть этих спутников по той причине, что мы разделяли общие социальные условия, и наше знакомство, похоже, складывалось иначе, чем это обычно бывает в жизни.

Далее я вкратце опишу свою лондонскую жизнь, начиная примерно с 1868 года и вплоть до того времени, когда я покинула столицу, чтобы вернуться в Ливерпуль.

Моя жизнь в Лондоне — как духовная, так и физическая — протекала в трех различных направлениях. В те времена одиноким женщинам-художницам редко кто протягивал руку помощи. Мне пришлось снять небольшой домик, в который я въехала вслед за художницей миссис Черити, находившейся в схожих со мной обстоятельствах.

Я была поистине двойственной натурой, а потому лишь казалась — но отнюдь не являлась — той светской душой, на которую недвусмысленно указывали мои внешние поступки. Около пятидесяти лет я прочла книгу Фруда «Жизнь и письма Эразма Роттердамского». Описанные в ней осмотренность и глубина мысли, досконально исследовавшей каждую проблему, в сравнении с полным энтузиазма, порывистым, но куда более поверхностным видением Лютера, произвели на меня колоссальное впечатление. С тех пор я предпочитаю, чтобы меня называли эразмианкой, а не лютеранкой, ибо теперь я столь ясно вижу: истинное мистическое учение заключается в том, чтобы продолжать глубоко и терпеливо мыслить, сохраняя массу постепенно накопленных знаний в тайниках разума, словно банковский вклад, к которому можно в любой момент обратиться, который можно пополнять или же переплавить в единый золотой слиток.

Мне кажется, время обретает свою главную ценность, когда на склоне лет мы перестаем обременять память внешними обстоятельствами и обращаемся к тому ценному духовному вкладу, что хранится в Банке нашей Памяти.

Говоря это, я должна добавить, что наши воспоминания всецело находятся во власти иллюзии тех чувств, которые мы испытывали в момент событий; и мы ни в коем случае не должны сегодня судить о друзьях и родственниках наших ранних лет так, как судили о них тогда. Гордясь своей цепкой памятью, большинство людей склонно забывать, что все в мире пронизано движением, и потому не следует слишком уж скрупулезно копаться в прошлом.

Я только что перечитывала свой подробный дневник, который вела с 1850 года, и хотя он прекрасно освежает в памяти внешние события, он все же доказывает мне: в то время я перевернула не так уж много страниц книги жизни, прежде чем усвоила, что познать себя или кого-либо другого — сложнейшее из дел.

В связи со страницами, которые я пишу о Ливерпуле, представьте мое удивление, когда, обосновавшись в этом городе, через несколько месяцев я отправилась на загородную прогулку! В те редкие приезды в Ливерпуль, случавшиеся до моего окончательного переезда туда, я не виделась ни с кем, кроме людей, связанных с моими художественными делами, или коллег по Теософскому обществу (членом которого я оставалась до тех пор, пока миссис Безант и мистер Ледбитер, став его лидерами, не утратили моего искреннего уважения).

И вот однажды один мой друг-доктор спросил, не хочу ли я проехать с ним на автомобиле, чтобы он показал мне «Куинс-Драйв». До этого я ранила его чувства, пренебрежительно отозвавшись о Ливерпуле и его окрестностях. Я ответила ему, что, за исключением парков, все здесь вызывает у меня отвращение, и мне, по сути, все равно. Но я приняла его предложение, и одним прекрасным летним днем мы отправились в путь. Я никогда не забуду того трепета, который вызвало у меня зрелище этого преображения!

В годы юности я исколесила все эти места, часто выезжая верхом на одном из двух кобов, бывших в распоряжении нас, девочек. В то время любая прогулка пешком или верхом в Ливерпуль была для меня во всех отношениях крайне неприятной. Я искренне жалела всех тех, кому приходилось милями брести пешком за городскую черту. Ни единой скамейки, чтобы дать отдых усталым костям, ни одного красивого сада, на котором мог бы остановиться взгляд! Ничего, кроме высоких кирпичных стен! Я терпеть не могла место, где жила, и никогда не смотрела за реку с высот Гамбье-Террас без вздоха, думая о том, какие красоты и дивные тайны скрыты там от всех, кроме избранных.

Наша семья была знакома с обитателями всех больших загородных усадеб в округе, но мне они казались какими-то иными личностями, хотя в своих идеях, поступках и во всем остальном ничем не отличались от прочих.

Позже я познакомилась с занимавшим тогда пост главного инженера Ливерпуля мистром Перси Булнуа. Он и его супруга были теософами. Мы часто виделись, и я с огромным удовольствием принимала гостеприимство, которое они оказывали мне, одинокой женщине, на почве общности наших взглядов. Но я никогда не думала о самом городе Ливерпуле иначе, как о Болд-стрит, Пир-Хеде или железнодорожных вокзалах, и в письмах, насколько я помню, никто ни разу не упомянул о тех преобразованиях, что тихо совершались в нем. Я читала почти все еженедельные и прочие литературные издания, немного интересовалась политикой и различными городскими делами, и даже испытывала некий мимолетный интерес при смене очередного лорд-мэра.

По натуре я была консерватором. Либеральным политикам я почему-то не доверяла. Казалось, что их политика и они сами как-то не соответствуют друг другу; к тому же мне приходилось много общаться с людьми (включая саму себя), которые не имели ни малейших способностей к так называемым гражданским и мирским делам. Люди, которым я доверяла, всегда были консерваторами! Мне казалось, что они неизменно судят о вещах с более высокой и глубокой точки зрения и никогда не склонны идти по более легкому пути — пути угождения другим.

В тот день я поехала на прогулку, и представьте мое изумление, когда передо мной, словно на театральной сцене, постепенно открывалась картина невероятных изменений во всем окружающем пейзаже: акры бывших пригородов, поглощенных городом, были застроены, засажены зеленью, пересечены новыми дорогами и украшены деревьями, садами и очаровательными маленькими домиками! Я совершенно растерялась и едва могла дышать, сидя в молчаливом изумлении и засыпая спутника путаными вопросами о том, что видела! Больше мне нечего добавить. Когда я вспоминала о Ливерпуле и его прежнем унылом уродстве, мне не хватало героя! И этого героя, совершившего воистину героическое деяние, я нахожу в лице главного инженера города, преемника моего старого друга-теософа, мистера Броуди, чей гений лежал в иных сферах.

Я поистине считаю, что любой человек, чье сильное и восхитительное воображение смогло добиться материального воплощения собственных идеалов на благо общества, лишено всякого воображения, достоин с почетом носить лавровый венец. К этому венцу следовало бы добавить еще множество листьев, когда блестящая идея тоннеля под рекой Мерси станет свершившимся фактом.

Я всегда мечтала о вещах, которые казались мне необходимыми Ливерпулю, хотя когда-то не было ни малейшей надежды на их осуществление. Во-первых, это мост или тоннель, который соединил бы с Ливерпулем чудесный полуостров Уиррал; во-вторых — Собор, который объединил бы все различные религиозные школы и течения в одном прекрасном и величественном здании, чей внешний и внутренний облик в равной степени соответствовал бы Божественному поклонению. Построенный на возвышенности, он гордо поднял бы главу, взирая на горы Уэльса, и служил бы ориентиром для заходящих в гавань кораблей.

Из меня всегда выходил плохой турист, поскольку у меня не было ни малейшего желания подвергать свои нервы какому-либо физическому дискомфорту. Я была пессимисткой и всегда испытывала смутный страх перед неизвестным: как я это восприму? И все же я испытала еще один «трепет», когда мой друг-доктор повез меня посмотреть на лайнер «Адриатик». Я не была разочарована.

Следующим на очереди, я полагаю, будет аэроплан! Раньше я любила фантазировать о подобных вещах, но всегда избегала мыслей об их осуществлении, словно боясь, что, будучи мечтами, они бесследно растают.

На этом я закончу о Ливерпуле, хотя, кажется, я только начала! Я чувствую, что мне еще о многом нужно рассказать, но есть одна вещь, о которой я ни в коем случае не должна забыть упомянуть. Вот она:

В трех частях этой книги — во Введении, Послесловии и основной части повествования — я довольно много говорю о религии и жизни души. Я склонна полагать, что среди моих читателей найдутся те, кто сочтет мой ум весьма непоследовательным из-за того, что я смешиваю религию с мирскими заботами. Кто-то решит, что с точки зрения внешней религии я являю собой никудышный пример, поскольку превозношу постройку Собора, равно как и Тоннеля, и благоустройство пригородов вокруг Куинс-Драйв, а также говорю о своей профессии художницы как о деле значимом и необходимом для подготовки к будущей жизни, которую я с нетерпением жду по завершении этой.

На это я отвечу, что не могу ничего разделять, ибо Теософия, или любовь к Богу, укоренившись в человеческой душе, проникает в каждый атом его жизни. Не произносите классическое слово «Пантеизм» невежественными устами. Бог пребывает рядом со всем живущим и внутри него, включая наши собственные тела и души. Его Дух приносит нам жизнь, сохраняет ее и сам является нашей жизнью.

Наша молитва должна быть светлой и полной надежды: «Даруй нам разумение, дабы положить конец нашим ошибкам».

ГЛАВА I. МОИ ПРЕДКИ

Я начинаю эти записи 18 ноября 1911 года. Мне следовало бы заглянуть в астрологические альманахи Рафаэля или Задкиеля, чтобы проверить, благоприятна ли эта дата. Тем не менее я рискну, ибо чувствую сильное желание начать. Я все откладывала и откладывала это дело, но, поскольку мне уже семьдесят пять, я должна начать сейчас, либо не начинать никогда.

Я родилась 28 февраля 1836 года, в воскресенье, в Ливерпуле, в доме номер 2 по Каннинг-стрит. Несомненно, многие люди начали свою жизнь в тот же день, в том же самом городе (хотя тогда Ливерпуль еще не имел статуса «сити»), но я не встречала никого из них, поэтому ограничусь главным образом своей собственной историей, поскольку это единственное, о чем я действительно знаю достаточно много.

Я не намерена вдаваться в пространные рассуждения о своем детстве, ибо не думаю, что вполне «родилась» до тех пор, пока мне не исполнилось около тридцати шести лет. Это может показаться поразительным заявлением, но, вероятно, многие поймут, что именно я пытаюсь передать, опираясь на собственный опыт. Разве они не чувствовали, не видели и не обдумывали многое из того, что казалось совершенно не связанным с их окружением? Разве они также не осознавали свою неспособность ясно сформулировать те смутные выводы и умозаключения, которые они интуитивно извлекали из окружающей обстановки? Разве не продолжали они задаваться вопросами, скорее пропуская события и их последствия через свои чувства, нежели фиксируя их в уме; лишь наблюдая за людьми и связывая их с мыслями и событиями, словно фантазмагорию, медленно проплывающую перед их взором?

Разум часто неспособен сосредоточиться и войти в свою еще не проложенную колею, и происходит это не от недостатка интереса, а от его чрезмерного наплыва в то время, когда мозг еще недостаточно развит, чтобы осознать свои задачи и возможности. Тогда я и не помышляла об Эволюции! Сейчас мне семьдесят пять, и я только учусь управлять своим наслаждением и интересом к Природе и Философии — а также к интересным или неинтересным людям. Я люблю Искусство, Науку и, превыше всего, Философию, больше, чем когда-либо.

Многие могут обнаружить здесь точное отражение того, что происходит в их собственном уме. Те натуры, которые от природы склонны к критичности, внимательны к деталям, обладают точной памятью на слова, а не на идеи, и оценивают большинство вещей с заранее определенной точки зрения, обычно взрослеют очень быстро и остаются такими же умными или такими же глупыми (в зависимости от обстоятельств) всю свою жизнь. По своей природе они — аристотелики современной школы, которая лишь так недавно решила взяться за поиски и исследования истинного значения Реального и Идеального.

Помню, когда мне было около девятнадцати, я размышляла: если бы все сложилось иначе, я могла бы стать музыкантом, натуралистом, ученым, врачом, путешественником, писателем или художником. Профессию художника я ставила на последнее место, так как чувствовала, что она вбирает в себя все остальное, и именно она оказалась тем призванием, для которого я, вероятно, и была рождена. Но, хотя я знала, что Искусство — моя судьба, я чувствовала тягу и способности ко всем остальным занятиям, и мне хотелось бы попробовать себя в роли натуралиста. Это может прозвучать возмутительно тщеславно, но теперь я думаю, что это был просто всплеск воспоминаний о прошлых жизнях, хотя тогда я ничего не знала об учении о реинкарнации.

Я думаю, что большинство людей искусства испытывают подобные чувства — те, кто пишет картины, кто сочиняет музыку, — все, кто трудится в этом мире, стремясь к идеалу, находящемуся за пределами реальных достижений; те, кто редко достигает своей цели, но всегда держит ее перед собой. Эти первопроходцы поймут, что я имею в виду, и осознают, что тщеславие и самомнение просто не могут быть присущи таким натурам. Я чувствовала, что это

так, и верю, что это свойственно многим. Теперь, после борьбы длиною в жизнь, я усмирила свой от природы очень импульсивный темперамент, для которого обдуманые действия были самым сложным из всего мыслимого.

Самое первое, что я помню, — это как я стою у большого камина вместе с другими людьми в огромной комнате замка Стипхилл². Кажется, так называлось место в Вентноре на острове Уайт, куда родители отправили меня из нашего дома в Ливерпуле.

Один джентльмен спросил меня, что бы я хотела получить в подарок, и я ответила, что хотела бы получить «долю» в том музыкальном инструменте, который дарили его детям. Этот вопрос, мой ответ и то, что за этим последовало, — и есть мое самое раннее воспоминание. Этот джентльмен, сэр Чарльз... был ко мне очень добр, но остальные рассмеялись, и кто-то сказал: «Но ты не сможешь забрать это с собой, ведь ты пришла попрощаться». Впрочем, в моей памяти сохранилось лишь великолепное чувство радости от прикосновения к чему-то музыкальному.

Слово «музыка» (*music*), как и слова «горноста́й» (*ermine*) и «кармин» (*carmine*), всегда вызывали во мне совершенно особый трепет — в особенности «кармин». Если я повторяла это слово про себя больше одного-двух раз, у меня возникало очень странное чувство, похожее на легкую дурноту — странное, но весьма приятное. У меня была маленькая акварельная плитка кармина. В священном благоговении я почтительно называла ее «тот самый цвет».

Слова «музыка» и «музыкальный» производили на меня похожий эффект. Я не думала о какой-то конкретной мелодии или инструменте, но когда я видела или слышала слово «музыка», я ощущала ту же невыразимую сладость, которая и была музыкой. Звучание английского слова *ermine* (горноста́й) и шекспировского имени *Hermione* (Гермиона) вызывало такое же ощущение. В связи со словом *ermine* я никогда не думала о мехе, хотя и слышала, как наша няня называла так мамину меховую накидку.

Спустя годы, когда я стала изучать то, что можно назвать герметическим учением, и познакомилась со словом *Hermes* (Гермес), я задавалась вопросом: нет ли какой-то скрытой оккультной связи в этих похожих, хотя и не идентичных звуках?

Как бы то ни было, к моим детским словам отнеслись всерьез и наделили меня «долей» в музыкальном инструменте — долей абстрактной, ибо она так и не материализовалась, и у меня осталось смутное чувство, что я безвозвратно что-то потеряла.

Следующее, что я помню, — это как нашей няне принесли весть о смерти моей матери. Полагаю, мне тогда было пять лет.

Моя мать умерла через неделю или две после рождения своего седьмого ребенка. Она вышла замуж в семнадцать и умерла в двадцать семь. Она была младшим ребенком полковника Гектора Лохил-Камерона. Ее мать была второй дочерью доктора Верни Ловетта, настоятеля Лисморского собора в графстве Уотерфорд, младшего брата сэра Джонатана Ловетта, баронета из Лискомб-парка, Бакингемшир. Полагаю, что свой импульсивный характер я унаследовала от деда и бабушки.

Когда дед был еще прапорщиком в своем полку, расквартированном в Йоле, он сбежал с моей бабушкой; ему было девятнадцать, а ей семнадцать! Полагаю, обе семьи — одна на острове Малл, а другая в графстве Уотерфорд — были одинаково раздосадованы. Брак, хотя и заключенный по любви, не был особенно счастливым. Мой дед, участвовавший в Пиренейских войнах, подолгу отсутствовал дома, поэтому бабушка жила в основном в Лисморе. Думаю, эта семья представляла собой не самую гармоничную смесь национальностей. У моей бабушки было шестеро детей. Ее старшая сестра, моя двоюродная бабушка Фрэнсис Ловетт, отступила от привычных правил и вышла замуж за мистера Эштона Йейтса, ливерпульского купца, проживавшего в Лондоне. В те времена это был весьма смелый шаг. Он был настоящим «коро-

² В 1841 г.

лем коммерции» во всех смыслах, но обладал характером, совершенно не подходившим его жене, которая, к сожалению, сильно его недооценивала. Она отличалась тяжелым нравом человека, наделенного некой долей гениальности, но не нашедшего утешения в реализации своего таланта. Это была очень красивая, властная женщина, прожившая долгую жизнь. В семье было три брата: Эштон, Джозеф и Ричард Йейтсы, и все они были людьми способными. Джозеф был дедом Генри Йейтс-Томпсона, сына Сэмюэла Томпсона.

Однажды моя бабушка приехала со своим мужем, полковником Камероном, навестить его родственников в Ливерпуле. Они остановились в их доме на Парламент-стрит (сейчас там находится Самаритянская больница, напротив конца Хоуп-стрит), который принадлежал мистеру Ричарду Йейтсу, впоследствии подарившему Ливерпулю Принсес-парк. Миссис Эштон Йейтс привезла с собой одну из своих ирландских племянниц, мою мать, и там она познакомилась с моим отцом, Джошуа Лейсом, молодым двадцатисемилетним солиситором, за которого вскоре вышла замуж.

Мой дед, полковник Камерон, умер в Лисморе от последствий ранения, полученного в одной из Пиренейских войн. Вскоре после этого бабушка распродала имущество и покинула свой дом, так как ее сыновья (мои дяди) благополучно устроили свои карьеры в церкви и в армии. Младший сын — единственный, кто занялся коммерцией, — потерпел сокрушительный крах и отплыл в Австралию, где в те времена человек быстро исчезал бесследно, что и произошло в его случае.

Брак моих родителей был заключен по любви, но их семьи совершенно не подходили друг другу. Мой дед Лейс был ведущим солиситором, одним из старейших и самых уважаемых в Ливерпуле. Я уверена, что он, будучи человеком очень суровым и чопорным, был при этом превосходным юристом; кем еще — я не знаю. Он жил в загородном доме в Гейтакере, в нескольких милях от Ливерпуля. В то время между этим местом и самим городом пролегла обширная полоса сельской местности. Мои тетки, его дочери, принадлежали к старой школе: носили шелка и привыкли к обилию прислуги. Они воспринимали подобные вещи как должное, ведь их предки жили так из поколения в поколение. Интересно, что бы они подумали о всеобщем братстве? Теперь я вижу, что в те дни социальное сознание ливерпульских «верхних десяти тысяч» почти поголовно спало. Мои родители, тетки и дядья — все они, казалось, принимали как «волю Божью» тот факт, что они богаты по праву наследования, в то время как другие прозябают в нищете. Подобные люди считали само собой разумеющимся, что они должны жить в больших домах, другие люди — в домах поменьше, а третьи — в еще меньших, пока доходы не исчезали вовсе, и тогда эти люди превращались в ту, иную расу — «бедняков».

Разумеется, торговцы и лавочники были для них совершенно иной расой, с иными семейными устоями. Должна, однако, заметить, что ливерпульские «верхние десять тысяч» той эпохи отнюдь не были теми богатыми нуворишами, которых часто описывают в литературе; ведь в большинстве случаев основатели семейств были дворянами по рождению — младшими сыновьями из еще не обедневших знатных родов Ланкашира и Чешира. Местная земельная аристократия тогда была богата, и во многих случаях младшие сыновья приезжали в Ливерпуль с деньгами и университетским образованием. Растущий город с его увеличивающимся торговым флотом предлагал прекрасные возможности для деятельных натур. Они приезжали, оседали и процветали в Ливерпуле. Некоторые, быстро приумножив свое состояние, переселялись в соседнюю сельскую местность и возвращались к социальным привычкам своих предков. В этих привычках не было ничего предосудительного; это были истинные манеры благородного сословия, с мировоззрением и идеалами, присущими всем людям ранневикторианской эпохи. Ливерпульские купцы нередко заключали браки за пределами Ливерпуля, выбирая пару из своего же социального круга.

Но я должна вернуться к истории моих родителей, которые поселились в своем городском доме номер 2 по Каннинг-стрит, в самом конце Гамбье-Террас. В ту пору он еще не был обезоб-

ражен современной кирпичной пристройкой с торца, выполненной в совершенно ином стиле, нежели задумывалось архитектором. Тот планировал возвести нечто вроде двойного центра из двух особых каменных домов, продолжив эту линию застройки в том же стиле до конца Хаскиссон-стрит, чтобы ее фасад выходил на юг и повторял облик северного конца Каннинг-стрит. Но эпоха больших городских особняков подошла к концу в 1840 году, и несколько лет спустя пустырь с недостроенными домами попал в руки дельцов; в результате линия застройки была завершена в совершенно ином стиле. В середине викторианской эпохи представления о городском планировании были весьма хаотичными. Мало кто заботился о единстве, стиле или общем впечатлении, а к будущим последствиям проявляли в высшей степени эгоистичное безразличие. Этот период с архитектурной точки зрения был поистине позорным: на первое место ставились удобство, комфорт или прихоть каждого отдельного строителя или домовладельца.

Мой отец был человеком высокой культуры. У него была большая библиотека, полная весьма ценных изданий классических авторов, а также коллекция картин «старых» и современных мастеров, фарфор, скульптура, резные изделия и предметы из слоновой кости. В те дни не было принято использовать драпировки из искусственных тканей в декоративных целях — только строгие портьеры из добротных материалов. Всякая подделка или примесь в шелке, бархате или других дорогих тканях считалась недопустимой. Люди жили среди мебели от Чиппендейла и Хепплуайта, но мало что понимали в этих вещах, которые в тот период считались суетными и «мирскими»! Существовали, однако, краснодеревщики, которые в своих тихих мастерских создавали очень добротную и тщательно отделанную мебель из красного дерева. Однако в период с 1829 по 1850 год правильными материалами для гостиных и библиотек считались палисандр и черное дерево, тогда как дуб воспринимался как нечто деревенское, подходящее только для коттеджей. Сосну не одобряли, но в ходу было много красивой мебели из атласного дерева с инкрустацией.

В то время все было лучшим в своем роде, и лишь после Всемирных выставок 1851–1861 гг. рука ремесленника стала терять свое мастерство, и дешевая, низкосортная мебель самого дурного вкуса постепенно стала обычным делом. В те дни о покупке подержанной мебели даже не помышляли; обладать новыми вещами было главным желанием. Домашние распродажи случались крайне редко и проводились лишь в случае острой необходимости, обычно после смерти владельца, не оставившего наследников; в противном случае это сочли бы позором. Люди, как правило, всю жизнь жили в одном и том же доме, с одной и той же мебелью, которая частично или полностью передавалась родственникам, и было совершенно не принято отдавать какую-либо ее часть другой семье.

До женитьбы мой отец совершил то, что тогда называлось «Гран-туром». Из Ливерпуля в Гавр он отправился на парусном судне, оттуда на дилижансе в Париж, а затем — также на дилижансе — в Италию. В Швейцарию тогда ездили немногие, но моя двоюродная бабушка, миссис Эштон Йейтс, побывала и там. Она была в своем роде эдакой леди Морган и написала отчет о своих путешествиях в трех томах, переплетенных в телячью кожу. Семья совершенно пренебрегала этими записями, и впервые я увидела их на старом букинистическом лотке на Портленд-роуд в Лондоне около 1879 года. Как ни странно, в одном из этих томов я нашла описание ее визита к «благородному семейству де Штейгер из Риггисберга, Берн», который состоялся благодаря женитьбе ее близкого родственника, ирландского помещика, на мадемуазель де Штейгер.

Пребывание в Швейцарии в 1815 году почти не оставило следов в переписке. Мистер Пиготт, известный как Пиготт из Капарда, графство Кингс, женился на мадемуазель де Штейгер, младшей сестре моего будущего свекра; поэтому, когда я впервые встретила своего мужа в Ливерпуле, я с удивлением обнаружила, что у него есть тетушка Пиготт, которая доводилась моей матери двоюродной сестрой.

Родственники моей матери принадлежали к евангелической церкви — как и все ирландские протестанты. Одна же из ливерпульских сестер моего отца вышла замуж за сына историка Роскоу; но этот брак, хотя и заключенный по обоюдному согласию семей, с религиозной точки зрения рассматривался как несчастье. В юности мне было хорошо знакомо как гласное, так и негласное мнение о том, что ни один унитарий не может быть «спасен». Я и сама так считала, и когда во время моей первой поездки за границу в возрасте двадцати лет я сентиментально влюбилась в одного унитария, сама мысль о браке с ним казалась мне невозможной — примерно так же, полагаю, как ранний христианин усомнился бы и побоялся заключить брак с язычницей. Моей единственной мыслью было обратить его в свою веру с помощью нескольких цитат из Библии. Но ни он, ни я так и не подверглись этому испытанию, поскольку после его первых визитов в дом моего дяди Лейса мы больше никогда не встречались.

Он был хорошим музыкантом и играл то, что тогда казалось мне идеальной музыкой — «Песни без слов» (*Lieder ohne Worte*) Мендельсона³. Мне казалось, он играет божественно, и я горько сокрушалась о том, что столь замечательный музыкант — унитарий! В те дни для мужчины было большой редкостью играть на фортепиано, хотя большинство дам играли, и, как правило, очень скверно. Музыка, за исключением профессиональной среды и концертов, мало культивировалась. Девочек в семье обучали; мальчиков — никогда. Они, как правило, относились к этому с полным пренебрежением.

Я начала жизнь с глубоко личной религиозной склонностью, но без какой бы то ни было тяги к той преданности Церкви и духовенству, которая обычно столь характерна для девичества — мне никогда не нравилось ни то, ни другое. К сожалению, мой опыт показывал, что все встречавшиеся мне священнослужители не дотягивали до установленного мною стандарта. Ни разу за все те многочисленные случаи, когда я влюблялась, предметом моих чувств не становился викарий! С сожалением должна признать, что я всегда была влюблена в некоего абстрактного идеального мужчину, но никогда не позволяла своим непостоянным привязанностям надолго задерживаться на ком-либо конкретном. Поэтому они быстро проходили. На самом деле ни один из встреченных мною мужчин не имел для меня реального значения, потому что я никогда не встречала того, кто стал бы для меня хоть малейшим воплощением моего идеала. Тот факт, что мужчина был женат или помолвлен, являлся для меня столь абсолютным и непреодолимым барьером, что мысль связать с ним романтические чувства едва ли могла зародиться в моем уме, а свободного для себя мужчину я тогда еще не встретила.

Мой идеал представлял собой смесь Фаддея Варшавского, чьей внешностью и поступками, описанными мисс Джейн Портер (популярной в то время романисткой), я так восхищалась; Альберта фон Рудольштадта из «Консуэло» Жорж Санд; и принца Альберта, которого я инстинктивно боготворила. Его часто и крайне несправедливо называли «педантом и святошей», но я думаю, что он был поистине умным, широких взглядов человеком высочайших моральных качеств, питавшим сильную склонность к искусствам и ремеслам. Отсюда и возникла идея Всемирной выставки 1851 года, которая была настолько хороша, насколько это вообще было возможно в столь хаотичный для искусства период. Это был лишь маленький набухающий росток, слабый сам по себе и ныне несправедливо высмеиваемый; но из него выросло могучее древо Возрождения, цветущее на протяжении пятидесяти лет, закат которого мы наблюдаем в той путанице, что царит во всем, связанном с искусством в нынешнем, 1911 году от Рождества Христова.

Музыка, поэзия, живопись, скульптура и литература — все оказалось затронуто этой болезнью! То, что прежде считалось канонами или принципами искусства и, следовательно, было обязательным, сменилось уродством и полным отрицанием всяких правил. Современное

³ Полагаю, «Песни без слов» олицетворяли собой своего рода духовную эволюцию и продвижение первоклассной музыки вперед по сравнению с «Битвой при Праге» и тому подобными фаворитами того времени.

Искусство, похоже, означает лишь случайное создание чего-то из глубин «внутреннего сознания», прямо как в случае с тем немцем из старого анекдота, который детально описывал верблюда, выведя его образ из собственного сознания, хотя никогда в жизни его не видел! Эти хаотичные почеркушки и мазня теперь воспринимаются как подлинная спонтанность единственно истинного художника, который лепечет, как дитя, в то время как старшие взирают на него и твердят: «Смотрите, какой гений!»

Дело в том, что сегодня ощущается столь острая нехватка интеллектуальных критериев и стандартов почти во всем, во что верят сами старшие, что пустота выдается за полноту, тишина — за звук; и в результате наступает смерть.

ГЛАВА II. РАННИЕ ГОДЫ

Во времена моего детства верхняя часть Ливерпуля примыкала почти к самой сельской местности, и жизнь там текла по-деревенски. Мой отец, будучи младшим партнером, редко появлялся в конторе. Фирма, в которой он состоял, до сих пор существует под вывеской «Laces» на Касл-стрит. Возможно, причина, по которой он не питал ни малейшей склонности к своей профессии и не находил в ней удовольствия, крылась в том, что сейчас принято называть «художественным темпераментом». Он был лишен той деятельной жилки, что побуждает к активному труду. Должно быть, он проводил время в праздных мечтах, покупая книги, картины и скульптуры вместо того, чтобы заниматься делами, и жил без какой-либо ясно очерченной цели. Он скончался в возрасте сорока семи лет, так и не оправившись от горя после потери жены и с негодованием отвергая все бестактные попытки родственников устроить его семейное счастье через новый брак. По сути, он заперся в четырех стенах с тремя младшими детьми, слугами, охотничьими лошадьми, картинами и книгами. Полагаю, что ранняя смерть моей матери нанесла его натуре непоправимый удар, и я уверена, что господствующая евангелическая религия его консервативной семьи не приносила ему ни интереса, ни утешения. Упоминавшийся ранее брак одной из его сестер с мистером Эдвардом Роскоу, сыном историка Уильяма Роскоу, не вызвал у него ничего, кроме равнодушия к богословским спорам между унитариями и евангелистами.

Нас, троих девочек, отдали в дневную школу в доме номер 11 по Перси-стрит, которую содержали три старые девы — сестры Хэгни. В те времена «содержание пансиона для юных леди» было единственным спасением от нищеты для многих одиноких и забытых женщин, независимо от того, обладали они нужной квалификацией или нет. Не знаю, какое положение занимали сестры Хэгни прежде, но старшая «мисс Хэгни», у которой, как мы полагали, вообще не было имени, преподавала географию и грамматику Линдли Мюррея. Мисс Сара учила нас чистописанию, истории и арифметике вплоть до деления в столбик. Она также «преподавала» нам поэзию: иными словами, мы заучивали наизусть определенные отрывки из «Чтеца-декламатора» Шеридана Ноулза. У меня была плохая память на слова — этот досадный недостаток сохранился у меня на всю жизнь. Я могу вспомнить лишь те стихи, что выучила еще девочкой; и я не испытываю ничего, кроме глубочайшей благодарности к системе «Memoria Technica» Грея, которая помогала моей памяти удерживать исторические даты. Моя слабая память всегда была для меня серьезным препятствием, ведь я любила поэзию, но постоянно забывала слова. Я убеждена, что люди, обладающие хорошей словесной памятью, часто обделены зрительным воображением. Что касается меня, я отчетливо видела сцены, которые воспевал поэт, но не могла дословно вспомнить те выражения, которыми он писал свои картины.

Третья сестра, мисс Элис Хэгни, преподавала нам «музыку, пение и обращение с глобусами»; на деле это означало, что каждую пятницу в четыре часа пополудни мы кружили вокруг глобусов и глазели на них, а когда наставал черед небесного глобуса, мисс Элис вращала его, обучая нас тому, что она называла «астрономией, или значением звезд». Само слово «глобусы» приводило меня в восторг. Я обожала рисовать карты и досконально знала географию Британских островов и тогдашней Европы. Я представляла ее зрительно: я могла по памяти нарисовать любую ее часть, с величайшей точностью нанося главные города, реки, горы и очертания берегов. Мне кажется, ошибка старых методов обучения заключалась в том, что ученика слишком часто заставляли делать строго по системе то, что ему лучше всего удавалось интуитивно. И по сей день разглядывание любой карты доставляет мне огромное удовольствие; я люблю ориентироваться в пространстве, ведь память некоторых людей живет в их глазах.

Полагаю, здоровье мисс Элис Хэгни пошатнулось, либо она не сошлась характерами со своими двумя старшими, властными и напрочь лишенными музыкального слуха сестрами.

Вероятно, по какой-то из этих причин разрыв стал неизбежен, и она переехала в коттедж «за рекой» — так в общем называли все населенные пункты на полуострове Уиррал. С тех пор я не раз пыталась отыскать это место, ведь в 1846 году Рок-Ферри был поистине очаровательным сельским уголком.

Я могу вспомнить один-единственный день, когда наши две няни по приглашению мисс Элис отвезли нас к ней на чай. В памяти осталось немного: помню лишь, как мы пересекли Мерси на маленьком колесном пароходе (похожем на нынешние багажные паромы), с которого веселая лодка высадила нас на слип; по нему мы вскарабкались на песчаный берег, ступая по мокрым камням, среди груд водорослей, сетей и швартовых канатов, привязанных к огромным железным кольцам. Мне припоминается сад, полный цветов, отделенный от берега лишь живой изгородью, и соломенная крыша настоящего деревенского коттеджа, хотя в те дни в таких домиках не было недостатка нигде. Что еще там было и как выглядели окрестности, я не припомню, но знаю одно: там жила мисс Элис, и она угощала нас клубникой со сливками в белых чашках с блюдами прямо в саду, перед которым расстился желтый песчаный берег, усыпанный комьями водорослей.

Позже, когда умер мой дед, полковник Камерон, бабушка покинула свой дом в Лисморе, графство Уотерфорд, и поселилась где-то в Рок-Ферри. К тому времени она приняла ирвингианскую веру. Их церковь — Католическая апостольская, как называли ее прихожане, — находилась на Каннинг-стрит в Ливерпуле, и, как мне кажется, в то время была единственной в Англии, если только ей не предшествовала та, что на Гордон-сквер в Лондоне. Ливерпульская церковь была построена немногочисленными личными учениками и друзьями по фамилии Хотон, а преподобный Хотон стал одним из «Апостолов», служивших в ней. Бабушкина преданность Церкви, должно быть, была очень искренней, раз уж в возрасте семидесяти лет она, так сказать, оставила свою страну и родных ради веры.

Мои школьные дни на Перси-стрит продолжались до пятнадцати лет. Отец умер, прожив десять лет вдовцом. Принадлежавший ему дом (номер 2 по Каннинг-стрит) вместе с мебелью, картинами и библиотекой был продан весьма влиятельной еврейской семье по фамилии Сэмюэл, а меня отправили в пансион в Стратфорд-на-Эйвоне. Этот очень старинный дом по соседству с церковью назывался Эйвонбэнк. Несколько лет спустя он стал известен как резиденция видного местного семейства по фамилии Флауэр; но уже тогда Стратфорд-на-Эйвоне снискал всемирную славу среди американских путешественников, хотя впоследствии эта слава еще более возросла благодаря проживанию там знаменитой писательницы Марии Корелли.

Я хорошо помню визит в церковь «удивительной американской писательницы» миссис Бичер-Стоу. По этому случаю нам, девочкам, велели вести себя тихо и не выглядывать из окон. Разумеется, некоторым все же удалось это сделать, и они доложили нам, что видели, как она прогуливалась по саду, примыкающему к церкви. Девочки сказали, что она похожа на «забавную старушку»! В то время мы мало что знали о «Хижине дяди Тома». Она еще не успела приобрести всемирную известность.

Оглядываясь на эти годы ранней юности дома и в пансионе, я вижу, как мало у нас было развлечений, но те немногие мы придумывали себе сами и искренне ими наслаждались.

Нашими главными товарищами по играм были трое сыновей мистера и миссис Дакворт: Робинсон, Генри и Дайс. Они жили в доме номер 3 по Каннинг-стрит, прямо напротив наших дверей. Хотя между взрослыми в наших семьях общения почти не было, нам, детям примерно одного возраста, разрешалось встречаться, когда мы захотим, и играть самостоятельно. Безудержное веселье, которое мы устраивали, когда мальчикам разрешалось приходить к нам и когда никого, кроме слуг, не было, чтобы запретить нам с визгом носиться вверх и вниз по винтовой лестнице нашего дома, могло сравниться лишь с тем глубоким восторгом, который мы испытывали, когда мистер и миссис Дакворт в редкие вечера присоединялись к нашим играм, раздавая фанты или помогая разыгрывать шарады. В таких случаях нам, в должном

сопровождении нянь, позволялось ходить к ним в гости. У мальчиков Даквортов, разумеется, не было няни, зато были отец, мать и старшая сестра. Последних двух мы бы с радостью предпочли нашим няням. У них был еще старший брат по имени Уильям, которого мы никогда не видели, и поэтому он оставался для нас своего рода загадкой, так же как для них — наш старший брат Верни, поскольку он не жил на Каннинг-стрит.

Семья Даквортов была очень музыкальной, а мисс Дакворт брала уроки у самого выдающегося учителя того времени в Ливерпуле — мистера Цойгера Херманна. Я чуть ли не боготворила ее умение играть экзерсисы Калькбреннера! Полагаю, тот образ жизни, который вели она и ее мать, в наши дни был бы совершенно немыслим с точки зрения заботы о здоровье и физической активности. С величайшим любопытством мы наблюдали из окон нашей детской, как миссис и мисс Дакворт выходили из парадной двери, обе в одинаковых кашемировых шالях, сложенных углом и свисавших до самых пят; однако у миссис Дакворт шаль была как-то иначе заколота на плечах, что подчеркивало ее статус матери семейства. В те времена женщины в сорок лет были — или казались — уже совсем старухами. Мы следили за тем, как они медленно поднимаются по Каннинг-стрит, поворачивают за угол на Кэтрин-стрит, затем скрываются из виду, чтобы вновь появиться на том же углу, вернуться на свою улицу и величественно прошествовать прямо домой. Сомневаюсь, что они покидали дом чаще одного раза в день. Робинсон впоследствии прославился как каноник Дакворт. Он также был прекрасным музыкантом с великолепным баритоном; Дайс по сей день здравствует как сэр Дайс; а Генри, посвятивший себя музыке, недавно скончался.

Мисс Дакворт вышла замуж за вестминстерского каноника Траутбека, и его дом в Динс-Ярде со временем прославился своими музыкальными приемами «At Home». Много-много лет спустя, когда я переехала жить в Лондон, миссис Траутбек разыскала меня и пригласила встретиться с Робинсоном на ближайшее Рождество. Тогда он уже был каноником Даквортом. Должен был присутствовать и каноник Фаррар. К несчастью, я была связана другим обязательством, которое не могла нарушить, — это стало одним из тех мелких светских разочарований, что так часто отравляли мне жизнь в годы моего вдовства.

Но вернемся к моим ранним годам. Не думаю, что тогда люди сильно утруждали себя вопросами санитарии и гигиены, хотя смена обстановки в летние месяцы считалась полезной для детей. Мои первые воспоминания о каникулах связаны с поездкой на июнь и июль в Ватерлоо, который тогда казался отдаленным от Ливерпуля на много миль. Полагаю, мне было лет восемь. Мы с нянями ехали в нашем открытом экипаже, который тогда назывался ландо, а слуги следовали за нами на единственном тогда общественном транспорте — почтовом дилижансе. Мой отец снял меблированный дом на Эспланаде, принадлежавший ливерпульскому священнику, преподобному Альфреду Джонсу. В те времена не было принято обсуждать деньги и цены при детях, но, как ни странно, я помню, что мы пробыли там семь недель, и это обошлось в сорок девять гиней. Из чего я делаю вывод, что дом стоил семь гиней в неделю.

Перед Эспланадой зеленел пустырь с чудесной короткой травой и островками серебристого и золотистого песка, над которыми порхали синие и красные бабочки. В низкой траве пестрели мелкие желтые и пурпурные цветы, а в вышине пели жаворонки. Даже сейчас я вспоминаю то чувство экстаза, когда это зрелище предстало перед моими глазами: я выбежала из садовой калитки на пустырь и увидела крошечного ослика, который щипал траву рядом со своей матерью. Он наострил уши, посмотрел на меня, а затем начал брыкаться в чистой радости бытия. Мы с сестрами предложили стоявшему неподалеку мужчине четыре пенса, чтобы купить ослика! Он взял четыре пенса и сказал: «Ну вот, мисс, теперь ослик ваш». Помню, как он без лишних слов ушел прочь. Как ни странно, я думаю, эти минуты восторга были настолько полны блаженства для здорового ребенка, что мало что еще из той поездки удержалось в моей памяти. Кажется, мы провели эти шесть недель, играя и купаясь на берегу. Мы подружились

с детьми по фамилии Маспратт — знакомыми моего отца. Один из мальчиков Маспраттов впоследствии стал доктором Шериданом Маспраттом, но никого из «взрослых» я не помню.

Следующие летние каникулы мы провели на юге Ирландии. Из Ливерпуля мы отплыли в Корк, откуда на пароходе добрались до Уотерфорда, а затем вверх по реке Блэкуотер до Вильерстауна, прелестной деревушки на берегу. Я вела дневник, где описывала все это, ибо уже тогда чувствовала ту потребность писать, которая в некоторых натурах заложена инстинктивно, но не было никого, кто хотел бы или мог это прочесть. Плавание из Корка в Ливерпуль в те дни было целым путешествием. Помню, я слышала, что путь от порта до порта обычно занимал сорок часов. Когда мы прибыли на пирс в Ливерпуле, капитан стоял на трапе у гребного колеса, прощаясь с пассажирами. Он пожал руку моему отцу, поцеловал нас, девочек, и, словно особа королевских кровей, благосклонно принимал реверансы нянь, делая им комплименты о красоте их маленьких подопечных. Судя по тому лъстивому вниманию, которым нас осыпали незнакомцы, мы были несомненно хорошенькими, чрезвычайно обаятельными и пышущими здоровьем детьми. Поскольку эта приятная формула постоянно адресовалась нашим няням при каждой встрече со знакомыми на улице, помню, как в моем уме зрел недоуменный вопрос: «Неужели Маргарет и Гарриет (няня и ее помощница) действительно приложили руку к тому, чтобы сделать нас красивыми? И неужели из-за некоторых нянь дети вырастают уродливыми?»

В то время в доке Сент-Джордж в Ливерпуле еще не было пристани, пригодной для высадки при любых приливах, поэтому нас переправляли на маленьких лодках. Помню, однажды едва не произошел несчастный случай: наша лодка чуть не столкнулась с чем-то, когда мы подплывали к ступеням. Прямо над нами нависло нечто огромное и темное. Няни закричали, матросы и мой отец вскочили на ноги и налегли на весла; в конце концов нас, детей, на руках подняли по темным скользким ступеням дока и усадили в ожидавшую карету. Вокруг, казалось, шумели люди. Тогда на пристани не было праздно гуляющей публики, только матросы да грузчики. У каждого ребенка был свой носильщик — «добрые, милые люди», как мне тогда думалось. Помню, с каким счастьем я держала большую руку своего носильщика в темноте и как мы с сестрами без умолку болтали с ними, доверяя им все свежие новости нашего путешествия.

Купальни на пирсе Сент-Джордж были в те дни для нас великой радостью. Я прекрасно помню восхитительный свежий запах соленой морской воды, приятный плеск волн под окнами здания купален и вид мачт в мокром доке, где теперь находится Управление доками. О, этот прекрасный свежий запах соленого моря! Он казался мне божественным, когда светило солнце и дул порывистый ветер. Наверное, сейчас я назвала бы это ужасно ледяным, пронизывающим норд-вестом, «наэлектризованным» ветром, сбивающим с ног, — но тогда мне казалось, будто я обретаю крылья и могу перелететь прямо на «другой берег». А внутри была чудесная изумрудно-синяя вода большого «Дамского бассейна» и восторг от прыжков на глубоководье! Спустя некоторое время я плавала вместе с девочкой, которая отлично держалась на воде — кажется, дочерью астронома Ласселла. Она плавала лучше меня, хотя я втайне тешила себя мыслью, что умею не только плавать, но и ездить верхом. Нас всех учили верховой езде, поскольку в нашем кругу считалось, что для девочек это умение так же необходимо, как и для мальчиков.

Старший брат моего отца, Эмброуз Лейс, жил в доме под названием «Биконсфилд», который он построил в нескольких милях за городом. Иногда он навещал нас на Каннинг-стрит, и я помню, как он взбегал по лестнице в детскую, чтобы спросить, хорошо ли мы себя ведем, и пообещать прислать одного из пони для конной прогулки. Он и сам был превосходным наездником — впрочем, тогда им казался каждый джентльмен. Не помню, как мы начинали ездить верхом, но моей первой осознанной радостью было, когда дядя Эмброуз однажды пообещал прислать для меня «Мэгги» — редкую красавицу. «Изабель, теперь ты можешь ездить на Мэгги, я скажу Джону». Джон был нашим кучером. Конюшни находились совсем рядом, на

Перси-стрит, и там у него было три лошади. Я помню чудесные прогулки верхом с Джоном. Иногда мы ехали в сторону Вултона, мимо бескрайних полей, где тюки мокрого хлопка лежали, словно грязный снег, пачкая зеленую траву там, где теперь проходит Принсес-роуд. Я терпеть не могла этот запах. Это был хлопок с потерпевших крушение кораблей, разложенный для просушки, чтобы избавиться от его мерзкого зловония. Интересно, выветрилось ли оно когда-нибудь? Теперь на этих полях стоят дома — как прекрасные, так и уродливые.

Как-то раз в марте, когда мы с Джоном отправились на прогулку, он сказал мне: «Мисс Изабель, не говорите никому, но мне хотелось бы хорошенько проскакать галопом по скаковому кругу. Только вы не бойтесь, Мэгги готова к галопу, как и Сэм». Сэм был огненно-рыжим конем золотистой масти, на котором ездил Джон; он всегда был чересчур падок до галопа, что и подтвердилось впоследствии, когда с каретой произошел несчастный случай. И вот мы отправились на ипподром в Эйнтри. Уж не знаю, какое право имел Джон так поступать (полагаю, никакого), но он был настоящим спортивным конюхом и, казалось, был на короткой ноге с толпившимися там мужчинами. Я слышала, как он сказал: «О, она (имея в виду меня) отлично справится». Затем он стиснул свои красивые блестящие зубы (нам рассказывали, что зубы Джона были специально выровнены, чтобы он мог правильно откусывать щенкам уши и хвосты), оперся запястьями о седло перед собой и со словами: «А теперь, мисс Изабель, поскакали!» издал какой-то гортанный крик. Я опустила кисти рук, как показывал мне Джон. Сэм и Мэгги все поняли, и мы помчались — да, прямо по кругу, со всеми препятствиями. У меня не было ни капли страха, лишь восторг перед стремительным движением, присущий всякой юности. Я смеялась и визжала от радости, держась рядом с Джоном и чувствуя себя единым целым со своей лошадью.

Когда мы вернулись к наблюдавшему за нами человеку, Джон сказал: «Молодцом, мисси, только никому не рассказывайте, где мы были». Я не видела в этом ничего дурного. Мне казалось, что это настоящий секрет, и я не утруждала себя вопросами «почему». Джон брал нас на верховые прогулки, и мы почти никогда об этом не рассказывали. Мы болтали с Джоном, как свойственно маленьким девочкам, — то есть ни о чем. Зато Джон обычно говорил о чем-то конкретном: об упряжи, конюхе или мерке для овса. Он никогда не обращал внимания на окружающие пейзажи, зато рассказывал нам, что, по его мнению, подумали бы об этом лошади — о плохих дорогах, об их самочувствии и о копытах. Поэтому, вернувшись, я лишь сказала первому встречному: «Джон устроил мне долгую скачку по полю, и мы прыгали через барьеры». Больше об этом не было сказано ни слова. Лишь много времени спустя я по-настоящему поняла, что это был самый настоящий скаковой круг в Эйнтри, уже подготовленный к скачкам, назначенным на следующую неделю. Когда я попросила Джона поехать туда снова, он изрек тоном оракула: «Нет, мисси, хорошее дело можно сделать разок, но не дважды, и та дорога нам больше не по пути».

Не думаю, чтобы отцу, гувернанткам или няням когда-либо приходило в голову задавать вопросы. Верховые прогулки были делом привычным, а Джону всецело доверяли как маленьких девочек, так и щенков! Но однажды я была глубоко несчастна, когда одна из нянь сказала, что зубы Джона созданы специально для того, чтобы откусывать щенкам хвосты; ведь я видела, что у него был крупный, белый ряд зубов, а искусственных в ту пору ни у кого не было.

В предпоследнее лето перед смертью отца мы с ним и двумя нашими нянями отправились в Шотландию, отплыв из Ливерпуля в Гринोक. Я прекрасно помню, как мы поднялись на палубу. Разумеется, в те дни плавание было долгим и подразумевало ночлег. И всех без исключения всегда укачивало! Я этому не удивляюсь, ведь условия для ночевки были тем, что мы сейчас назвали бы «кошмарными». В те времена люди, привыкшие к роскоши у себя дома, казалось, воспринимали любые лишения как естественное следствие путешествий. Все наши знакомые надевали в дорогу самую старую и худую одежду. Дорожное платье означало не одежду, приспособленную для поездок, а самые старые и прочные шали и плащи, которые уже

невозможно было испортить этим необычным занятием — путешествием. Собственно говоря, мало кто путешествовал просто так, ради удовольствия, не имея на то веских причин, хотя мне, полагаю, довелось начать рано: еще в детстве родители брали меня вместе с кучером и няней в поездку по Северному Уэльсу в просторном фаэтоне. Моя мать написала своей сестре, жене викария из Вильерстауна в графстве Уотерфорд, письмо, которое я прочла годы спустя. В нем мама с восторгом описывала дивную дикую природу Уэльса и ужасы перевала Пенмайнмаур с его внушающими трепет пейзажами и жуткой дорогой, вырубленной в скалах, где сейчас проносится поезд, известный как «Дикий ирландец». На мой взгляд, можно лишь горько сожалеть о том, что для железной дороги не выбрали другой маршрут, тем самым сохранив этот уэльский Корниш.

За год до Шотландии мы провели лето в Рамси на острове Мэн. Чтобы добраться до Дугласа на пароходке, требовалась целая ночь, а затем мы ехали на дилижансе до Рамси. Говорили, что в те дни на острове можно было жить буквально «за бесценок»! И эта дешевизна не была чем-то из ряда вон выходящим — она была нормой. Я смутно припоминаю, что за аренду большого коттеджа на все шесть недель мой отец заплатил меньше, чем за одну неделю аренды дома на Эспланаде в Ватерлоо. Мы взяли с собой прислугу, и я помню, как заходила на просторную кухню посмотреть на торговку рыбой, которая ежедневно приносила устриц, крабов и омаров, и слышала, как она говорила: «Я оставлю вам, мэм, эту дюжину омаров за шиллинг», раскладывая шевелящуюся черную массу кучками по четыре штуки в ряд. Их варили живьем. Кажется, каждому из нас доставалось по целому омару. Устрицы были огромными, и они нам очень нравились. Не думаю, что тогда вообще существовало представление о том, что омары или моллюски могут кому-то навредить или что варить их заживо — это жестокость. Помню, они постоянно были у нас на столе, как и огромные рисовые пудинги, и еще более огромные блюда с ежевикой. Помню также, что все мы удили рыбу; даже нам, маленьким девочкам, Папа подарил по удочке (в нашем кругу никто не говорил «Отец»). Никто нас не учил, но мы наблюдали за тем, как удили джентльмены, и с легкостью ловили мелкого лосося в реке Салби в долине Балур. Рыбешки были размером с селедку.

Последним путешествием при жизни отца стала уже упомянутая мною поездка в Гриннок. Оттуда мы отправились в Инвернесс, где целый месяц прожили в восхитительном отеле — и там я снова делала записи в своем дневнике. Он сторел во время Эдинбургского пожара 1898 года, о котором я расскажу позже. За несколько лет до этого я перечитывала свои записи. Дневник скорее был подражанием «взрослым» книгам из отцовской библиотеки (которую я читала запоем), нежели отражением моих собственных мыслей. Полагаю, большинство молодых людей начинают писать не то, что они чувствуют на самом деле, а то, что, по их мнению, должны были чувствовать и думать другие люди в подобных обстоятельствах. Более того, я писала весьма благочестиво и изъяснялась так, как никогда в жизни не рискнула бы разговаривать с окружающими. Одной из причин было то, что между мной и двумя моими сестрами существовал строжайший моральный кодекс, и при малейшем нарушении наших правил мы с демонической яростью набрасывались друг на друга. В действительности мы сильно робели перед взаимным надзором, воздвигнув для себя высочайший воображаемый стандарт — главным образом благодаря чтению популярных тогда рассказов миссис Шервуд. Ее стандарты поведения, воплощенные в ее героинях, мы мысленно принимали как руководство к действию, и в результате оказывались в заложниках у мнения друг друга. Свои суждения мы высказывали открыто, и не думаю, чтобы мы хоть раз отступили от этого кодекса чести в отношениях между собой. Однако в глубине души я была не слишком высокого мнения о миссис Шервуд. Она слишком много разглагольствовала, а ее персонажи, казалось, ничего не делали, в то время как Консуэло, на мой взгляд, действовала, видела и знала. Я также читала «Графа Монте-Кристо» и «Записки врача». Приключения Жозефа Бальзамо, разумеется, привили мне первый вкус к оккультным наукам, который в полной мере проявился позже. А мои сестры сохраняли

преданность миссис Шервуд. Много лет спустя я прочла романы Вальтера Скотта, и мое восхищение героем Артуром из «Анны Гейерштейнской», Альбертом фон Рудольштадтом и, как я уже упоминала, принцем Альбертом, заставило меня принять твердое решение выйти замуж за иностранца — желательно за немца. Но тогда я ни разу не встречала немцев, да и никого, кто был бы знаком хотя бы с одним из них, за исключением мисс Хаген, немецкой гувернантки в школе сестер Хэгни, которая имела привычку грызть ногти; и я, увы, заразилась этой дурной привычкой.

По сравнению с тем, каким он стал сейчас, Ливерпуль тогда был очень маленьким городом, и вплоть до 1860 года сельская местность начиналась почти сразу за городской чертой. Поскольку мы с сестрами были единственными приходящими ученицами, мисс Хэгни ежедневно выводила нас на прогулку — кажется, между двенадцатью и часом дня. В это время входило и одевание перед выходом, и раздевание по возвращении. Одна прогулка до какого-нибудь места и обратно — вот и все, что тогда считалось необходимым. Интересно, что бы сейчас подумали о гигиенических условиях в школе для детей, чьи родители жили в роскоши! Я совершенно не помню ни малейших попыток проветрить сравнительно небольшие классы, где усердно занимались не менее тридцати девочек, и единственным нашим моционом были прогулки с мисс Хэгни да дорога от дома номер 2 по Каннинг-стрит до дома номер 11 по Перси-стрит и обратно. Моя младшая сестра Розамунд шла в паре с мисс Хэгни, а мы с сестрой Ниной шли вместе. Но мы вовсе не чувствовали себя несчастными: ведь мы почти не знали иной жизни. В зрелые годы, когда при мне кто-то начинал горячо сочувствовать чужой судьбе, я замечала, что эта жалость, скорее всего, излишня; ведь, судя по моему собственному опыту, физическое и обыденное счастье весьма относительно, и те люди вполне могли быть довольны своей участью. Я совершенно уверена, что, хотя у нас с сестрами было мало игрушек, мы переживали моменты величайшего наслаждения, возясь с мальчиками Даквортов, когда никто не вмешивался и не мешал нам, а о других людях я думала так, словно они живут в совершенно ином мире. Ни мы, ни Дакворты не были от природы непослушными или зловредными детьми.

Что касается наших прогулок с мисс Хэгни, то одну из них мы особенно недолюбливали — это был поход на Холм (где сейчас возводится Кафедральный собор). Мы терпеть не могли это место, но мисс Хэгни строго следовала своему расписанию. Насколько я помню, другой маршрут вел вверх по Парламент-стрит к месту, которое мы называли «верхушкой» (ныне Лодж-лейн), граничившему, разумеется, с сельской местностью. Там мы всегда поворачивали назад. Еще один маршрут пролегал по Принсес-парк-роуд и вел прямо к воротам парка, где, как нам казалось, начинался Рай. По обе стороны от Ливерпуля проселочные дороги вели к сельским переулкам, которые сейчас превратились в оживленные пригородные магистрали. Тогда у нас были еще Парламентские поля, принадлежавшие лорду Сефтону, и общая тропинка, ведущая на простор сельской округи. Эти поля тянулись вдоль одной стороны Принсес-роуд и были огорожены старыми, длинными, низкими каменными стенами с плоским, неровным верхом — источником нескончаемой радости для маленьких сорванцов, которые бегали по ним и перепрыгивали с одной стены на другую. Там были каменные ступени вместо перелазов и тропинки, ведущие к Смитдаун-лейн, которая в те времена была самой настоящей деревенской «лейн» (улочкой). Я прекрасно помню усыпанную шлаком дорожку, которая вела к станции Эджхилл через прилегающий лес из высоких старых деревьев. В те дни я любила эту станцию, а то, как поезда вытягивали из туннеля с помощью огромных канатов, казалось мне зловещей и трепетной тайной. Слово «ужасный» (*awful*) тогда не употреблялось так часто в обыденной речи (ни детьми, ни кем-либо еще), как в наши дни, и сохраняло свой первоначальный смысл — «внушающий трепет». Вагоны походили на почтовые кареты, так как багаж каждого путешественника грузили на крышу его собственного вагона. Помню, как мои сундуки водрузили на крышу вагона первого класса, в котором меня отправили в Лимингтон — конечную станцию на пути в Стратфорд-на-Эйвоне. Вагоны третьего класса были открытыми, и люди сидели

на скамьях, расставленных по бортам чего-то вроде товарной платформы. Второго класса я не помню. Кажется, его и не было.

Окрестности станции Эджхилл были усеяны старинными и современными загородными усадьбами, а прямо к ней примыкала деревня. Вултон был отдаленной деревней, Гейтакер — еще более глухой. Утром и вечером между Вултоном и Ливерпулем курсировал неуклюжий омнибус. Все держали экипажи, верховых лошадей, двуколки, кабриолеты или другие средства передвижения. В те дни люди не так сильно зависели от общественного транспорта, как сейчас, ведь каждое загородное хозяйство располагало собственными средствами. Это лишь в наши дни мы стали зависеть от общественных служб, а не друг от друга. Прискорбно это или нет — зависит от точки зрения, хотя несомненно то, что в нынешние времена всеобщего «Братства» мы заботимся друг о друге куда меньше. Как и теперь, люди тогда представляли собой пеструю смесь самых разных сословий и положений. Дамы в духе «Крэнфорда» встречались в изобилии, наравне с женщинами деятельными и в высшей степени способными. Тем не менее богатство, стекавшееся в Ливерпуль, дурно повлияло на многих женщин. Но никогда, никогда в те дни слово «женщина» (*woman*) не могло быть употреблено иначе, как для обозначения действительно оборванной труженицы, жены простого рабочего или прислуги. Ступенью выше стояли жены торговцев — все они именовались «особами» (*persons*); в то время как жены и дочери священнослужителей, военных, юристов, врачей, а также местной аристократии, тогда без исключения были «леди». Применить к ним слово «женщина» сочли бы возмутительной насмешкой. Леди ездили верхом или в каретах; «особы» — в кабриолетах; «женщины» ходили пешком. Все это было предельно ясно, и, думаю, примерно то же самое относилось и к мужчинам. Под «мужиками» (*men*) мы подразумевали исключительно рабочий люд. Если мы и были снобами, то это был не лицемерный снобизм, а своего рода кастовое устройство, которое к настоящему времени перевернулось с ног на голову до такой степени, что приходящую поденщицу, заглянувшую сказать, в какой день она явится на работу, теперь докладывают как «леди, ожидающую приема».

ГЛАВА III. ДЖЕННИ ЛИНД, РЕСКИН И ДРУГИЕ

Я покинула Ливерпуль в пятнадцать лет.

Если вдуматься, многие могут заметить, что важные перемены в жизни часто происходят с правильными десятилетними интервалами — так случилось и со мной.

Моя мать умерла, когда мне было пять; отец — когда мне исполнилось пятнадцать, и тогда вся моя жизнь, *malgré moi*⁴, совершенно переменилась.

В двадцать пять я вышла замуж, а в тридцать пять овдовела.

В сорок пять, после десяти лет, полных событий и перемен, по возвращении в Египет на зимовку, во мне произошел глубокий духовный перелом.

Внутри этих периодов скрывались малые трехлетние циклы, которые начались после моего двадцатипятилетия. Я никогда не жила в одном и том же доме дольше трех лет, независимо от того, снимал ли его мой муж или, позже, в годы вдовства, я сама.

В сорок пять лет перемены были связаны не столько с событиями физического плана, сколько приняли духовную форму.

В пятьдесят пять я уехала из Лондона, что повлекло за собой полное крушение многого как в моей внешней, так и во внутренней жизни.

Пожив в Ливерпуле, Эдинбурге и снова в Ливерпуле, я отправилась в Рок-Ферри. Проводя в каждом доме ровно по три года, я также успела пожить в Бирмингеме, Борнмуте, Лланголлене, снова в Рок-Ферри, а затем вернулась в Ливерпуль.

Причины каждого из этих переездов будут раскрыты в свое время; сейчас же я лишь намечаю последовательность событий.

Последняя перемена, которую мне предстоит совершить, вероятно, произойдет в восемьдесят пять лет. Я не тороплю ее, но и не страшусь; пожалуй, даже скорее желаю ее.

Моя новая жизнь началась 28 февраля 1851 года, после моего пятнадцатилетия и смерти отца.

От природы я очень любила музыку, и само это слово, как уже упоминалось, значило для меня необычайно много. Много лет спустя я увидела бладхаунда по кличке «Музыка», и при звуке этого имени по моему телу пробежала странная дрожь, что доказывает: мое восприятие слова не имело ничего общего с самим музыкальным звучанием.

Слова, а точнее, их звучание, имели надо мной огромную власть. Слово «рисование» (*drawing*), когда оно относилось к тому, что я делала с помощью карандашей и мелков, приводило меня в трепет.

Время от времени мой дядя приходил к нам на Каннинг-стрит, чтобы проведать нас и сообщить, что в его ложе номер 13 в Филармонии есть место для одного из детей — то есть для одной из нас, его племянниц.

Я отчетливо помню один случай, когда выбор пал на меня, потому что в тот вечер пела Дженни Линд.

Как странно, что, вспоминая дни своей юности, мы воскрешаем в памяти лишь отдельные мгновения, порой совершенно незначительные. Однако этот случай был событием исключительным.

Дженни Линд пела по-итальянски арии из «Дочери полка», а также несколько шведских народных песен. Одна из них называлась «Кукушка» или «Эхо». Все это я помню довольно смутно.

Зато я ясно помню, как смотрела вниз на сцену из дядиной ложи и видела ее, стоящую перед публикой. У нее было лицо точь-в-точь как на портретах — бледное и волевое; на ней

⁴ *Malgré moi* (фр.) — помимо моей воли.

было розовое шелковое вечернее платье с глубоким вырезом, а голову украшал венок из розовых листьев, сплетенный на манер лаврового венка античных героев.

Я наблюдала, как она вздымает обнаженные плечи — это меня необычайно занимало. Затем с ее губ сорвался звук, похожий на шумный вдох. Из этого вдоха родилась мощная музыкальная нота; начав, она продолжала петь. До того как она поднимала плечи, мне казалось, что начать петь стоит ей огромных усилий. Как ни странно, она не произвела на меня сильного впечатления, и впоследствии, когда я читала ее биографию или какие-либо статьи о ней, я воспринимала их равнодушно; она сама казалась мне холодной, казалась лишь безупречным голосом и ничем более.

Она жила на углу Хоуп-стрит и Каннинг-стрит, через дом от Даквортов. Помню, прислуга говорила, что на улице собирались толпы людей, чтобы послушать, как «шведский соловей» распевает гаммы.

У нее не было — или почти не было — достойных соперниц. Сейчас все совершенно иначе; мне очень жаль нынешних гениев сцены. Звезда восходит за звездой, так что никто не может долго удерживать первенство, и потому звезде часто приходится гаснуть гораздо раньше, чем ей того хотелось бы!

Читая о живых или уже почивших певцах и музыкантах, я всегда ловила себя на мысли, что никто из них ни в малейшей степени не может сравниться с моей Музой Музыки — моей Консуэло.

Именно ее голос я всегда пыталась расслышать, когда слушала новую певицу, но всегда тщетно. Думаю, ближе всего к моему идеалу были голоса мадам Титъенс и мисс Клары Новелло.

Единственным певцом-мужчиной, по-настоящему очаровавшим меня, был итальянец по фамилии Гардони. Я слышала, как он исполнял арии из оперы, которую многие сочли бы весьма банальной, — «Сороки-воровки», и мое сердце растаяло.

Пение Симса Ривза и растрогало, и воспламенило меня. Сэнтли я слышала всего однажды, и он был простужен, но его голос мне очень понравился.

Не думаю, что Гардони представлял собой нечто из ряда вон выходящее, но для меня он пел как ангел во плоти.

Гризи мне также довелось услышать, однако при весьма прискорбных обстоятельствах. Она вышла на сцену вместе с Марио, но они лишь молча стояли перед публикой, пока двое джентльменов не увели их за кулисы, дав зрителям понять, что произошло нечто непредвиденное. Увы! Впоследствии я осознала, что оба были «не в состоянии» выступать, однако публика отнеслась к этому происшествию с добрым и почтительным молчанием.

Я упоминаю Консуэло так, словно эта литературная героиня известна каждому, хотя знали ее немногие, поскольку романы Жорж Санд тогда считались «аморальными». Уж не знаю, как ко мне в руки попало то дешевое издание в бумажной обложке.

Сомневаюсь, что хотя бы один из ныне живущих артистов способен снискать такое невероятное поклонение всего общества — лордов, палаты общин и простого люда — какое выпало на долю Дженни Линд. От членов королевской семьи до самых низов — все были у ее ног. Тем не менее лично у меня она ассоциируется лишь со вздымающимися плечами и, как мне казалось, шумным дыханием.

Я никогда не могла представить, чтобы Консуэло пела только ртом. Казалось, она поет всем своим существом, подобно соловью или канарейке. Для меня не имело значения, в каком платье, на каком языке, где, как и чью музыку она исполняла. Это была сама Музыка, нечто таинственное — Музыка, дивные, небесные звуки, плывущие в воздухе.

Кроме того, в романе Жорж Санд меня завораживали все эти профессиональные, сугубо практические разговоры о музыке между Консуэло, Беппо, Порпорой и другими «Маэстро». В них мне нравилась их абсолютная серьезность.

Мне претит образ мыслей, при котором Искусство воспринимается как некое «дополнение» к Природе, как всего лишь развлечение, необязательное или вовсе незначительное. Если оно, как принято считать, является лишь «дополнением» к и без того перегруженной жизни современного человечества; если Искусство рассматривать как декоративное излишество при уже сформированном (хоть это и ошибочное мнение) состоянии образования, — тогда Искусство, несомненно, есть бесполезная обуза на жизненном пути.

Увы! Искусство часто считают просто расточительной, громоздкой надстройкой, тогда как в действительности оно должно быть необходимостью, заложенной в самом фундаменте человеческого существования, и, подобно религии, составлять неотъемлемую часть повседневной жизни.

Я утверждаю, что в мире нет ни одной картины — если мерить звонкой монетой — которая стоила бы ста тысяч фунтов, и нет ни одного певца, которому стоило бы платить семьсот фунтов за вечер, как, говорят, платили мадам Аделине Патти. Экономическая оценка Искусства строится на совершенно ложном основании. Хотя физическая жизнь для удобства опирается на золотой стандарт⁵, все мы понимаем: если бы Жизнь не была истинной, существование на этом плане прекратилось бы из-за своей внутренней никчемности, ибо оно свелось бы исключительно к коммерческой конкуренции одной нации с другой. Сам факт того, что сегодня колоссальные суммы выплачиваются, скажем, русским танцовщикам, убедительно доказывает, что Искусство, оцениваемое подобным образом, не может иметь постоянной ценности, и такой подход ведет лишь к деградации. Возможно, через несколько лет такие же огромные суммы будут платить просто из духа соперничества за какую-нибудь доселе неведомую и чудовищную форму Искусства, которая случайно войдет в восточную или европейскую моду. И тогда мы, как безумцы, станем жадать мелодий с Марса!

В недавней истории Великобритании был период чрезвычайно активной художественной жизни — примерно с 1860 по 1900 год, — когда огромная часть публики либо выдавала себя за Художников, либо это были настоящие работающие Художники, позирующие как нечто выходящее за рамки Искусства. Третьи не были ни Художниками, ни толковыми критиками, но строили из себя и тех, и других. Общество тогда было полно оригинального, очаровательного вздора, и наименее вредной из всех ролей той эпохи позерства была роль «эстета из галереи Гросвенор». Милый, легкомысленный период невинного сумасбродства — ибо сумасбродство может повлечь за собой странные последствия! Можем ли мы сказать то же самое о школах импрессионизма и постимпрессионизма? Распустится ли что-нибудь прекрасное на столь иссохшем стебле? Нет, ибо ничто, кроме свежего корня, не сможет вернуть здоровье Искусству и Архитектуре, если новизна останется *sine qua non* [непременным условием] процесса полного исцеления.

Правда и то, что великий Рескин открыл двери для целого потока новых доктрин и написал множество трудов об Искусстве и Художниках, в которых было немало истинного смысла, но также и немало чепухи. Многие его учения породили болезненную сентиментальность, хотя в конечном итоге он сделал очень много для того, что можно было бы назвать санитарной реформой умов в повседневной жизни. Он возвел Искусство как основополагающий человеческий принцип на подобающий ему пьедестал, перестав рассматривать его как просто навязанное, агрессивное «дополнение». Он признал его изначально присущим человеческому разуму, а потому совершенно справедливо именуемым украшением. Он покончил с фальшью и притворством, хотя и породил немало фальши и притворства среди многих своих последователей, поскольку те цеплялись за букву (что вообще свойственно таким людям) и отрекались от духа, лежащего в основе всех его трудов, — ведь сам он стремился к живописной Истине. Подобные

⁵ В своем негативном аспекте золото является символом таких реальностей, как жизнь и смерть. Безусловно, все мы знаем это и доказываем собственными жизнями. (Прим. автора).

люди часто упускают Истину, подобно одному нашему знакомому юноше: увидев обнаженную женщину [аллегию Истины], поднимающуюся в ведре из колодца, он в ужасе бежал от этого зрелища, после чего она тут же рухнула обратно и с тех пор появлялась там крайне редко.

Когда мне было лет восемнадцать, я терпеть не могла Рескина. Тогда я читала лишь его ранние сочинения и на самом деле очень мало знала о нем вплоть до того момента, пока не прошло много лет⁶. В то время меня возмущала его манера указывать людям, что они должны видеть и как им следует мыслить. С высокомерием начинающего художника я считала, что не нуждаюсь в столь обобщенных наставлениях. Я и сама видела синеву сквозь серое небо, клубящиеся облака, бьющиеся о берег волны или журчащие прозрачные ручьи. Я видела яблоневый цвет, золотой утесник и полет ласточки, и узнавала большинство обычных птиц по их пению. Я видела туманы и облака над хребтом Моэл-Фаммау — этой Королевой гор Клуидской долины, что возвышалась над более низкими грядками Флинтшира и рекой Ди, над холмами Уиррала, из таинственных далей Северного Уэльса. К сожалению, должна признаться, что в те дни я называла их «величественными горами», но для меня они такими и были.

В то время мне нужны были другие авторы, которые говорили бы со мной иначе, ведь критические отзывы Рескина о картинах приводили меня в уныние, и для меня он не был учителем. Разумеется, я была самонадеянна и заносчива, когда твердила себе: «Я не желаю ни видеть мистера Рескина, ни слышать о нем». Я и не слышала, ибо, надо сказать, на его беду, в те дни его окружали поклонники, которые восхищались именно его слабостями. В более поздние годы, когда он провозглашал благородные истины, за которые Англия должна быть ему вечно благодарна, у него осталось совсем мало почитателей. Именно тогда мое отношение к нему изменилось.

Мне требовались знания о самой Природе, а не о ее внешнем проявлении. Я видела и чувствовала Природу, ее цвета и формы; я хотела узнать, как воспроизвести ее для чужих глаз, равно как и понять ее внутреннюю суть. Я чувствовала, что Рескин был поистине великим человеком и мог бы стать национальным благодетелем, когда провозгласил свои идеи социальных реформ. Он был — и остается — величайшим орудием пробуждения социальной совести, и я верила, что его признают одним из великих людей Британии. Пелена спала с его глаз, чтобы открыть глаза другим. Мне кажется, континентальное Искусство подверглось гораздо большему влиянию Рескина, чем это осознают британские художники, увлеченные социальной проблематикой. Особенно в Германии, как мне представляется, его социальное учение принесло вред, подобно тому как учение Толстого навредило России. К моему удивлению, когда Рескин перестал рассуждать об Искусстве и судить о нем, его художественные поклонники прекратили свои славословия, оставив его в поистине узком кругу. И по мере того как этот круг сужался, я думала о том, сколь тяжела, должно быть, участь пророка, если он не льстит и не восхваляет своих слушателей, и какими неблагодарными могут быть люди. Но посеянные им семена — а он взрастил немало зерен благой истины — мало-помалу начали приносить добрые плоды. Несомненно, это проявилось в постепенном улучшении жилой архитектуры; ее современные направления и принципы, по крайней мере, все лучшее в них, проистекают главным образом из усилий Рескина научить людей видеть здраво и правильно.

Я вновь признаю ошибку своей порывистой юности. С тех пор многие говорили мне, что до знакомства с трудами Рескина они и понятия не имели, как смотреть на Природу и что в

⁶ Здесь стоит упомянуть, что его жена была воспитанницей в Эйвонбэнке у трех сестер Эйнсворт. Она была любимицей учителей, и в то время я знала о ней главным образом потому, что она нацарапала на окне моей спальни свое имя, «Эффи Грей», кольцом с бриллиантом. Для меня самым удивительным в этом был сам бриллиант. Мы также знали лишь то, что она вышла замуж за великого писателя, некоего мистера Раскина. Мисс Эйнсворт очень гордилась любой ученицей, удачно вышедшей замуж вскоре после окончания пансиона, и порой с огромной гордостью упоминала «свою бывшую воспитанницу мисс Эффи Грей». Но однажды она вошла в класс и безапелляционным тоном заявила: «Юные леди, имя мисс Эффи Грей больше никогда не должно упоминаться». И оно не упоминалось. Причина стала мне известна лишь много лет спустя; это была поистине запретная тема. (Прим. автора).

ней видеть, и как они благодарны ему за это поистине бесценное учение. Разумеется, художники поймут, что я вовсе не имела в виду какое-либо высокомерие с моей стороны. Ни одному прирожденному музыканту, например, не нужно указывать, что ему слушать или что любить, когда перед ним открыт весь мир музыкальных звуков. Единственное, в чем нуждается каждый из них, — это техническое обучение. Каждый наверняка знает, чего он хочет. Каждый жаждет овладеть искусством выражения своих особых внутренних чувств посредством музыки; именно искусство *выражения* и требуется, поскольку сама по себе музыка познается интуитивно. Художники всегда знали, что такое музыка и живопись сами по себе; они приходили в этот мир с этим знанием. Но им необходима техническая выучка, и перед умелым наставником склонит голову каждый художник.

В истинном Художественном темпераменте нет места высокомерию. Позже может возникнуть тщеславие, но если это происходит, то лишь вследствие какого-то серьезного изъяна в характере. Разумеется, у тех, кто берется за Искусство из одного лишь тщеславного желания называться художником, этот изъян непременно проявится. Порой обстоятельства могут оказаться слишком суровыми и нанести художнику столь разрушительный удар, что болезненное разочарование может исказить или погубить его талант. Как правило, однако, при наличии истинных творческих способностей в натуре Художника нет ни высокомерия, ни тщеславия. Если восхваляют истинного Святого, поначалу эти похвалы доставляют ему боль; но постепенно, если похвала действительно заслуженна, Святой почувствует радость и признательность за доброту своих ближних.

Я не могу отделаться от мысли, что самые тяжкие минуты для художника наступают тогда, когда он вынужден выслушивать похвалы некомпетентного критика, который из-за собственного невежества не замечает лучших работ Художника, зато горячо превозносит незначительные произведения, не доставляющие радости самому творцу.

Марк Твен где-то сказал — надеюсь, я верно цитирую этого гения, — что художник, создавая портрет, должен угодить трем разным сторонам: во-первых, самому оригиналу портрета, во-вторых, друзьям и врагам оригинала, и в-третьих, самому себе! Случается ли когда-нибудь так, чтобы это удовольствие действительно оказалось тройным?

ГЛАВА IV. АЛЬФРЕД ХАНТ. ВЕЛЛИНГТОНСКИЕ ЗАЛЫ

Теперь я должна коснуться своих собственных первых шагов в мире Искусства. Учителем рисования, который приходил заниматься с нами в пансион мисс Хэгни, был мистер Хант, отец впоследствии известного Альфреда Уильяма Ханта; на мой взгляд, похвалы Рескина в равной степени и погубили карьеру этого молодого человека, и поспособствовали ей. Мистер и миссис Хант были очаровательными людьми. Они жили в доме на Олдхэм-стрит, ныне Реншоу-стрит. К дому примыкала большая пристройка, именовавшаяся «Академией рисования»; эта «Академия» уже давно уступила место «Складу лестниц Джонса».

Находясь там, я чувствовала, что рисовать в этой Академии, освещаемой большим поточным окном, — сущее Райское блаженство. Мистер Хант был добрейшим «стариком» (хотя, полагаю, ему еще не было и пятидесяти!). Его метод обучения заключался в том, что он приносил нам гипсовые головы Жюльена — по крайней мере, мне он приносил именно их. Помню, как мистер Хант говорил мне: «Мисс Изабель Лейс, вам следует попросить папу позволить вам учиться по-настоящему и получить золотую медаль, ибо вы ее непременно получите».

Не помню, чтобы я о чем-то просила папу. Я понятия не имела, что это за золотая медаль и что она означает. А мистер Хант частенько повторял: «Жаль, как жаль, что вы не получите золотую медаль». Мне нравилось рисовать эти глупые жюльеновские головы, которые, как мне кажется, я копировала весьма точно, делая это чисто автоматически — художник от природы не задается вопросом «как». В пансионе мисс Хэгни училась дочь мистера Ханта по имени Эми, которую я очень любила и которая также была одной из его учениц. Однако у Эми не было ни малейшей склонности к рисованию. Она представляла собой один из тех редких случаев, когда человек наделен лишь одной гранью Художественного дара, и в ее случае это была музыка.

Я тоже любила музыку, и мы вместе «разучивали» дуэты. Ханты были людьми музыкальными и говорили о музыке совершенно естественно. Время от времени нас приглашали к ним на чай на Олдхэм-стрит. Старшая сестра Эми, Мария Хант, часто подменяла отца на уроках, и я горячо ее любила. Мне она казалась красивой и доброй, и она приносила мне всевозможные образцы для копирования. Забуду ли я когда-нибудь то блаженство, с которым выписывала каплю росы на пурпурном вьюнке, кропотливо нанося краску мельчайшими точками на бристольский картон? Мои глаза были слепы ко всей вымученной натянутости таких работ, столь сильно я была очарована самой магией техники.

Как научиться переносить на бумагу или холст лучшее из того, что ты знаешь, то, что, как тебе кажется, ты видишь, — вот то, в чем нуждаются и в чем находят радость все художники. В последующие годы мне пришлось от многого отучиться или же изменить подход, не перечеркивая прошлого; поверхностный стиль тех дней — а каким приторным, плоским и фальшивым он казался — был мне совершенно ясен. Но сквозь него я видела настоящий вьюнок и настоящую каплю росы, и именно очарование этого видения и упоительный труд в попытках выразить его делали те мгновения поистине золотыми.

У мисс Марии Хант была еще одна сестра, мисс Эмма, которая казалась мне даже более красивой. Полагаю, она почти или вовсе не занималась этими миленькими, кропотливыми копиями. Она была очень мила. Думаю, она должна была обладать невероятным обаянием, ибо в целом это была восхитительная семья. Мне кажется, мое первое личное осознание того, что такое истинная культура, утонченность и талант, произошло именно в их скромно обставленном, лишенном всякой богемности доме. Они устраивали дружеские вечеринки, но ни о какой роскоши там не было и речи. Брат Эми, Альфред, в котором она души не чаяла, обычно

присутствовал на них и проникся ко мне мальчишеской симпатией, хотя тогда я об этом и не подозревала. Несколько лет спустя, когда мне было около шестнадцати, он прислал мне свою поэму, за которую в тот год получил Ньюдигейтскую премию в Оксфорде, а также прелестный небольшой карандашный набросок. Впоследствии, когда он стал весьма уважаемым художником, многие, возможно, забыли, что он обладал еще и выдающимся литературным даром, развитие которого могло бы стать занятием столь же ему близким, но, возможно, и более успешным, чем выбранный им путь. Две мои сестры не захотели становиться ученицами мистера Ханта, но разделяли мою симпатию к этой семье.

Я не могу отделаться от мысли, что подавляющий авторитет критики мистера Рескина навредил творчеству Альфреда Ханта, почти вынудив молодого художника стремиться угодить Рескину, вместо того чтобы следовать собственным художественным склонностям. Как я уже говорила, мое собственное художественное чутье было совершенно противоположно взглядам мистера Рескина, но ведь художники и музыканты — все, кто творит умом и сердцем, — постоянно меняют свои точки зрения. Так поступают все люди, все народы и расы — медленно или быстро, в зависимости от того, находится ли эволюция в активной или в более заторможенной фазе. Все движется, растет, ширится или отступает; жизнь всегда живет внутри самой себя благодаря росту. Эта безапелляционная критика почти заставила Альфреда Ханта придерживаться тех стандартов и того стиля в Искусстве, которые так превозносил мистер Рескин. А ведь Ханту следовало бы взбунтоваться.

Позже, когда мне было около восемнадцати или девятнадцати лет, я получила от него еще один рисунок и еще одно стихотворение. На сей раз это была не призовая поэма, а стихи, идущие от самого сердца, в которых он давал понять, что я — та жизненная цель, к которой отныне будут устремлены все его помыслы и усилия. Стихотворение привело меня в полный восторг, однако, в силу моей от природы бесстрастной натуры (поскольку мои собственные чувства не были затронуты сколько-нибудь глубоко), я скорее восхищалась самой формой стихов, нежели осознавала их смысл. Весьма опрометчиво, но не без гордости за брата моей подруги Эми, я показала послание своей тетушке, мисс Джейн Лейс, которая незадолго до того взяла на себя управление домом моего овдовевшего дяди (ее брата). Она лишь пробежала его глазами и, процедив: «Сын твоего учителя рисования — весьма дерзкий молодой человек», бросила письмо в пылающий камин, прежде чем я успела его спасти. При этом она добавила: «Разумеется, тебе не следует обращать на этот вздор никакого внимания, а тем более отвечать на него». Я ничего не ответила, но вышла из комнаты, стораю от глухого негодования. Этот случай заставил меня с тех пор начать полностью закрывать свою душу от многих окружавших меня людей. Должна заметить, что третий рисунок, присланный мне А. У. Хантом — вид на замок Драхенфельс на Рейне, — я тетушке Джейн не отдала. Я хранила его всю жизнь, пока он не сгорел вместе с другими моими вещами во время пожара в Эдинбурге. Это был прекрасный карандашный рисунок, совершенно лишенный того бледного и кропотливо-вымученного стиля «Альманаха красавиц», в котором был выполнен первый набросок, сопровождавший его призовую поэму. Несколько лет спустя он женился на даме, обладавшей, судя по ее романам, большим литературным даром. Их дочь Вайолет [Хант] — настоящий гений, но, к моему сожалению, в Лондоне мы с ней так и не встретились. Я никогда не слышала, чтобы ее отец достиг особых высот в своей карьере; казалось, он отдалился от широкой художественной жизни.

Когда я вспоминаю о собственном образовании — то есть обо всем том образовании, которое в мое время считалось достаточным для юной девушки, — в зрелые годы меня глубоко огорчала мысль о том, как часто самое лучшее время в жизни женщины, от пятнадцати до двадцати пяти лет, тратится впустую. А ведь это именно те годы, когда следует обогащать свой ум великими творениями старых мастеров и поэтов, изучать настоящую литературу и тренировать память, заучивая бессмертные слова великих национальных мыслителей. В юности ни в коем случае нельзя заниматься ничем иным, кроме как питать свой интеллект. Только

тогда в нем будет накоплена пища, суть которой сможет постепенно усваиваться в последующей жизни. Интеллект расширяется, а разум крепнет, впитывая великие истины, которые в свой срок расцветают и приносят плоды. Если литературная или художественная жизнь начинается рано, она стартует с гораздо более высокой ступени и с куда более богатым багажом знаний в том случае, когда в юности ученик был хорошо начитан в славной Философии того, что именуется Гуманизмом и Классикой. И тогда, и сейчас мы пресыщены сырой современной философией, превратно понятым мистицизмом и материями, публиковать рассуждения о которых писателям не следовало бы отваживаться без более глубокого знания предмета — того самого предмета, за который они берутся со столь непрекаемым авторитетом и столь же вопиющей некомпетентностью.

Прогресс в вопросах образования с 1881 года просто поразителен. Допускаю, что теперь многое стало значительно лучше. Однако, что касается Ливерпуля и его тогдашнего высшего общества, я совершенно уверена, что за исключением кружка унитариев, модные в ту пору евангелисты или политические нонконформисты редко могли похвастаться высшим университетским образованием. И этот недостаток легко сходил им с рук, поскольку религия, образование и наука в те времена подчеркнуто сторонились друг друга. По мере того, как евангелическое движение росло и процветало, во всех сферах Искусства и Литературы становились заметны постепенный упадок и омертвление. Все, что не сводилось к посещению церкви или деловым занятиям, объявлялось греховным, хотя Общество все еще продолжало устраивать официальные званые обеды и балы. Но какими чопорными и незамысловатыми кажутся теперь танцы тех дней! Чего, однако, не скажешь о званых обедах.

В евангелических кругах было мало светских развлечений, хотя именно они задавали тон в обществе; поэтому они компенсировали это обилием званых обедов и роскошью в повседневном быту. Социальная совесть почти спала, зато было много показной благотворительности и щедрой раздачи милостыни. Общество Друзей [квакеры] и унитарии составляли основную часть тех местных жителей, в чьей среде теплилась настоящая жизнь, сиял свет Литературы, Искусства или внутренней религии. У них, без сомнения, всего этого в то время было в избытке. Однако, насколько я помню, евангелическая предвзятость всех моих тетюшек по отношению к иноверцам породила известную холодность в отношениях с нашими родственниками-унитариями из семьи Роскоу. Во всяком случае, мои воспоминания ограничиваются лишь тетюшкой Роскоу, скончавшейся около 1840 года. У нее было двое детей; одна из них, замужняя дочь миссис Генри Сэндбах, безусловно, была женщиной гениальной и одаренной. Обстоятельства и ее собственное семейное окружение были к ней столь благосклонны, что она получила полный простор для раскрытия своих способностей. Она была другом — как в свете, так и в жизни — многих художников, музыкантов и писателей своего времени, и в особенности покровительствовала скульптору Гибсону, которому помогла прославиться в Ливерпуле. У нее хватило смелости самой написать и опубликовать два или три романа, один из которых, «Сердца в мертвой руке» (*Hearts in Mortmain*), затрагивал политические темы. Но известность их была невелика. Как редко художнику или писателю удается опередить свое время или выйти за рамки своего окружения! Она умерла рано, иначе моим заветным девичьим желанием было бы чаще видеться и ближе узнать эту удивительную кузину Маргарет, которая была слишком значительной фигурой, чтобы Евангелическое Общество смогло ее сокрушить. Я уверена, что у нее была благородная и великодушная натура. Темное клеймо унитариянки, а значит, и неблагоприятной особы, в ее случае было несколько смягчено.

Размышляя о жизни в преклонные годы, невольно предаешься печальным мыслям о том огромном числе людей, которые уходят из жизни, не оставив ни малейшего следа, ни легкой ряби на поверхности общественной жизни своих современников. Маргарет Роскоу была одной из немногих в нашей семье, кому удалось оставить такой след, вышедший за пределы родственного круга и многих других ливерпульских сообществ. Метафизическая доктрина реинкарна-

ции, на мой взгляд, предлагает наилучшее объяснение того, почему одни жизни имеют непреходящую ценность и значение, а другие — нет. Разумеется, всякая жизнь значима и ценна для мира, а для тех, у кого есть дети, ее значение заключается прежде всего в них самих. Но что касается внешних обстоятельств, порой кажется, что многим с таким же успехом можно было бы и вовсе не рождаться на свет. В конце концов, большинство из нас видят лишь личностное, внешнее и нереальное в человеке. В те дни старшие (в моем случае — тетушки и дядюшки), насколько я помню, не пытались задумываться о результатах и последствиях чего-либо, за исключением денежных вопросов. Крайне редко заходила речь о том, что мы знали или чего не знали в вопросах веры. Все это считалось делом Судьбы или Необходимости. В моем кругу главное представление о судьбе девушки сводилось к тому, что по достижении восемнадцати лет она должна быть представлена Свету как официально признанная взрослая особа, а затем ухитриться жить дальше, как и все остальные, тем образом жизни, к которому они привыкли.

В те времена это означало получить право появляться на балах в Веллингтонских залах. Они проводились раз в две недели, начиная с Михайлова дня и вплоть до Пасхи, в специально предназначенном для этого здании, которое и по сей день стоит на Маунт-Плезант. Члены этого собрания принадлежали к старым и самым влиятельным семьям, и каждый претендент на вступление подвергался строжайшей процедуре баллотировки. Доходило до того, что, поскольку новых, никому не известных семейств там почти не появлялось, свежей кровью становились лишь изредка вступающие молодые люди — как правило, отпрыски все тех же фамилий. В мое время к числу главных семей относились: разумеется, лорд Дерби и лорд Сефтон в качестве покровителей и землевладельцев, а также Эрлы, Лэнгтоны, Марриотты, Рэтбоуны, Хорнби, Джонстоны, Марроллы, Уокеры, Эштоны, Броклбэнки, Тинны, Паркеры, Шэнды и другие; и все они принадлежали к англиканской церкви. Дополнительными участниками того или иного бала могли стать общественные деятели или родственники, приехавшие погостить в Ливерпуль. Я не слишком хорошо помню тогдашних мэров и членов муниципалитета — кто они были и чем занимались. Я называю по именам лишь некоторых из тех, с кем мы, семья Лейс, были знакомы лично. В списки гостей мог быть включен любой важный военный, политик или судья, которому устраивали торжественный прием в Ливерпуле; кроме того, давались два особых бала, которые считались главными событиями сезона. Первым был Охотничий бал, следовавший за скачками в Эйнтри и «Гранд Нэшнл». Все видные деятели спорта, флота, армии и тому подобные господа всегда считались самыми желанными гостями. Иногда это были герои морских сражений, иногда — сухопутных. Не припомню случая, чтобы мы чествовали какого-нибудь ученого. С какой стати? Людей интересовали только признанные герои. Наука не вызывала у нас ни малейшего трепета и, что касается нас, была совершенно мертва. Вторым был Бал ассизов, на котором ведущих судей, королевских адвокатов и прочих сановников развлекали их солиситоры. Со стыдом признаюсь, что, кроме случайных заметок в журналах *Good Words*, *Church Quarterly*, *Edinburgh Review*, *Chambers' Miscellany* и *Sunday at Home*, я почти ничего не знала об общественной жизни других людей.

Члены и завсегдатаи Веллингтонских залов жили в огромных поместьях: Аллертон-холл, Вултон-холл, Чайлдволл-холл, Колдерстоунз, Друидс-Кросс, Спрингвуд и многих других — величественных особняках, разбросанных по всем пригородам, от Уолтона и Уэст-Дерби до Эйгберта и Гарстона. У всех было по несколько экипажей и множество слуг.

Из всех церквей я лучше всего знала Чайлдволлскую. Воскресным утром, а иногда и пополудни, у церкви выстраивалась вереница фамильных карет с лакеями, ожидавшими окончания службы, чтобы развезти нас по домам, находившимся в двух-трех милях оттуда. Эти лакеи, сидевшие на задних скамьях у скрипучих старых дубовых дверей, точно так же, как и мы, зевали на протяжении усыпляющих проповедей старого пастора Кэмпбелла, который

воскресными летними днями на одной монотонной минорной ноте ровно полчаса читал свои ортодоксальные нравоучения. Я никогда не связывала все это с истинной религией.

Не припомню, чтобы господа слишком много думали о своих слугах, ограничиваясь лишь изрядной долей снисходительного дружелюбия. Их предоставляли их собственной религии и не заботились о том, как они коротают часы ожидания, пока хозяева находятся в церкви, на званных вечерах или обедах.

Я хорошо помню одно воскресенье. Я панически боялась ос, за что сестры меня изрядно презирали. В один жаркий летний день, когда я сидела в Чайлдволлской церкви, пребывая в состоянии дремотного бодрствования, я услышала поблизости жужжание осы и увидела, как она вылетает из мрака под одной из массивных дубовых балок церкви. По сей день я помню, в каких муках тревоги я пыталась проследить, куда же эта оса в итоге приземлится. Разумеется, я не смела и пошевелиться. Мой дядя сидел в дальнем конце скамьи и тоже находился в состоянии полудремы. Две мои сестры, чьих аргусовых глаз стоило опасаться куда больше дядиных, украдкой посмеивались надо мной. Право же, во время воздушных налетов я испытывала тревогу из-за снижения аэроплана лишь потому, что она была более продолжительной, чем мой страх перед той осой! Неужели она сядет на мой капор? (Шляпки имели иное предназначение: их надевали исключительно для прогулок в саду, и во все времена они считались сомнительным головным убором для юных леди). Я напряженно следила за ней, думая, что если она все же сядет на меня, я умру на месте. Что я подразумевала под «умру» — не знаю, но я испытывала жуткий страх перед какой-то непреодолимой силой, которая повергнет мои чувства в смятение. На самом деле, полагаю, я просто анатомизировала последствия подобного страха. Но природа ос всегда суетлива и непредсказуема: внезапно я увидела, как оса, словно эйнштейновский луч света, отклонилась от своей видимой цели и с решительной стремительностью прожужжала в сторону соседней квадратной скамьи, где спиной ко мне сидела тучная мисс Энн-Мэри Хорнби. Там оса опустилась на ее чепец, сделанный из материала, который тогда назывался «прозрачной соломой», и, поспешно зарывшись в волосы, локоны, ленты и буфы из тюля, исчезла с тишиной, подобающей могиле. Больше оса не появлялась. Невозможно описать мои чувства и мою благодарность Богу за избавление от этой опасности — по крайней мере, так мне тогда казалось. Но в то же время меня терзало мучительное осознание собственной трусости. Думаю, я чувствовала себя как здоровый молодой лодырь, уклонившийся от военной службы во время Войны. Мне было ясно, что я не могу прервать проповедь и переполошить прихожан или предпринять хоть что-нибудь; и я молилась о прощении за ту радость, которую испытывала от мысли, что здоровенная оса запуталась в чужих кудрях, тюле, пушистых бантах и прозрачной соломе. Затем я молила о даровании мне сил пережить тот момент, если паче чаяния мисс Энн-Мэри Хорнби вдруг почувствует какое-то необычное ощущение на голове и попытается почесать это место своими ничего не подозревающими, незрячими пальцами. А если попытается, сможет ли оса увернуться от ее пальца? Не бросится ли она к противоположному месту для отдыха — моей щеке? Мне оставалось лишь ждать и терпеть те несколько минут, что оставались до того момента, когда я увидела, как старый пастор как-то прямолинейно дернулся в высокой дубовой кафедре, захлопнул книгу в черном атласном переплете (полагаю, это была рукопись) и произнес, очень мягко, но о, каким же благословенным для меня тоном: «А ныне Богу Отцу...» и так далее; по тогдашнему правилу мы должны были плавно опуститься на колени для заключительного Благословения. Я мгновенно упала на колени, гадая, как там поживает эта оса, и как чувствует себя мисс Хорнби? Я так этого и не узнала.

Все это звучит действительно глупо, но зато показывает, насколько пуст может быть праздный ум. Я провела некий самоанализ своего поведения, но у меня не было критериев, которые указали бы мне на что-то лучшее. Впрочем, я бы прониклась безмерным восхищением к мисс Хорнби, знай я наверняка, что она сознательно выносила присутствие осы, не подавая

виду. В моих глазах она бы увенчалась венцом и мужеством истинной мученицы. Теперь я до мельчайших подробностей помню все свои переживания в те полчаса, но почти ничего другого из того периода. Я прихожу к выводу, что необразованный ум — каким был мой — скорее чувствует, нежели мыслит, и в памяти запечатлеваются лишь сильные эмоции, вызванные какой-то внезапной причиной.

Должно быть — и я совершенно уверена, что так оно и было, — в годы между 1850 и 1861-м существовала целая плеяда поистине достойных, одаренных женщин, которые ощущали пустоту обыденной жизни и религии; и эти особые книги великой писательницы своего времени, мисс Шарлотты Йондж, оказались ценнейшим приобретением, настоящей опорой и поддержкой для взрослеющих девушек моего поколения. Я не очень хорошо помню их сюжеты, но «Наследник Редклиффа» (*The Heir of Redcliffe*), «Юная мачеха» (*The Young Stepmother*) и другие романы стали наставниками для пытливых девичьих умов и тем самым заложили новый образ мыслей!

Идеи так называемой «Высокой церкви» (High Church), давно известные истинным мыслителям, вдохнули новую жизнь в юные души, а священники этого направления в разных приходах помогали превратить (и превратили) церковную службу с ее обрядами и церемониями в свежий стимул для девичьих стремлений и надежд. В то время публиковалось множество романов, которые должны навсегда остаться свидетельством душевной чистоты почти всех пишущих мужчин и женщин. Евангелизм уничтожил скверну грубого литературного слога: любое произведение, в котором можно было заподозрить хотя бы намек на сомнительный смысл — будь то в вопросах веры или плоти — не находило читателей вовсе!

ГЛАВА V. ЗАМУЖЕСТВО

Вернемся к моей жизни после окончания пансиона мисс Стивенс на Норт-Энд-роуд в Фулхэме.

Меня всегда одолевала жажда знать, слышать и видеть нечто большее. Но вокруг не было ничего, что можно было бы услышать или увидеть, и невысказанные стремления так и оставались неутоленными. Я продолжала заниматься рисованием, но с каждым разом все хуже и хуже. Ума не приложу, как мне удавалось столь долго обводить вокруг пальца обоих учителей рисования в обеих школах; ведь по поведению я неизменно получала высший балл, что означало: я была тихой, послушной и славилась примерным поведением. И вот однажды, покончив с жюльеновскими головами мистера Ханта, я увидела очередные образцы для копирования, выданные мне преподавателями из обеих школ, и дерзко заявила мисс Стивенс: «Я не буду это срисовывать». К моему удивлению, мне не сделали выговора. Я позаимствовала несколько классических линейных рисунков из папки в гостиной мисс Стивенс — вот и все мое художественное образование вплоть до самого замужества. Тем не менее я не оставляла попыток совершенствоваться: делала наброски всего, что могла, и втайне от всех смело пыталась писать портреты людей, которыми восхищалась.

С моим будущим мужем я впервые встретилась в Веллингтонских залах. Среди избранных членов собрания числились несколько иностранцев хорошего происхождения и воспитания, допущенных туда благодаря их умению танцевать. Их родословная предварительно подвергалась строжайшей проверке; таким образом, оказавшись зачисленными в ряды завсегдатаев, они признавались вполне достойными кандидатами на случай, если кто-то из них впоследствии осмелился бы претендовать на родство с семьями первых подписчиков этих балов. В те дни я была влюблена в саму идею любви, как это часто бывает с девушками. Жизнь в нашем невероятно пестром семействе была далека от счастья. Я страстно желала уехать за границу, а мой швейцарский кавалер обладал романтической выправкой и не менее романтическим именем — Рудольф Адольф фон Штейгер фон Риггисберг (если привести его в полной немецкой форме), — и ему-то и суждено было стать героем, который дарует мне свободу. Была пышная свадьба в Чайлдволлской церкви, оркестр волонтеров и шатры на лужайке нашего дома в Гейтакере, носившего название «Гнездо дрозда» (*Throstles' Nest*), после чего мы отправились за границу навестить его семью — Штейгеров из Риггисберга.

Моя замужняя жизнь началась с проблем со здоровьем. За год или два до свадьбы, гостя на юге Ирландии, я сильно простудилась. Тетя и дядя разрешали нам наносить такие визиты. Они были долгими, длились неделями, в течение которых мы полностью погружались в жизнь принимавшей нас семьи. Помню несколько недель, которые мы с моей сестрой Ниной провели в загородном поместье старого лорда Гофа — Блэк-Рок близ Дублина. Его семья состояла в родстве с семьей моей матери. Он был героем приграничных войн в Индии — милым, добрым, словоохотливым стариком с неизменным крупным веллингтоновским носом. Никогда в жизни я не встречала по-настоящему успешного и неутомимого человека действия (человека Марса, как сказали бы астрологи) с носом какой-либо другой формы; мы с полным правом можем назвать его носом Веллингтона-Бута. Ни один мудрый, спокойный мужчина не должен жениться на женщине с ярко выраженным веллингтоновским носом; и ни одной женщине не следует легкомысленно выходить замуж за обладателя такого носа! Носам этого типа обычно подчиняются, и их обладателям суждено жить в счастливом одиночестве.

Противоположную форму носа французы называли *profile fuyant* (ускользающий профиль). Нос лорда Гофа, несомненно, повелевал, как и нос дорогой старой леди Гоф, а вся семья, разумеется, беспрекословно повиновалась. Это было счастливое семейство, глубоко евангелическое и свято верящее в Непосредственное Руководство Благостного Антропоморфного

Провидения, которое было к ним весьма благосклонно. Полагаю, что этот доминирующий нос передался по наследству и нынешним мужчинам из семьи Гоф, поскольку их имена до сих пор на слуху как имена героев. Как и подобало ирландским протестантам, все они были убежденными евангелистами. Идеи набиравшей силу «Высокой церкви» обычно не обсуждались, а лишь терпелись; а слово «священники» (*priests*) считалось применимым исключительно к католической церкви. Религия (за исключением сектантских терминов и культов) сводилась в основном к пустым словам, а душа, ее состояние, а тем более вопрос о самом ее существовании, были темами, почти невысказанными для светских бесед в гостиной.

В обществе иностранных экспатов в Ливерпуле, куда я попала после замужества, как мне теперь кажется, почти отсутствовала спасительная британская традиция соблюдения воскресного дня; находясь среди них, я замечала куда менее строгое отношение к воскресенью, чем то, что царило в моей собственной семье. Будучи швейцарцами, они в большинстве своем были кальвинистами, лютеранами или католиками, а потому первые из них, находясь в Англии, не принимали участия в британских англиканских богослужениях. Большинство ливерпульских швейцарцев-протестантов посещали конгрегационалистские часовни (как их тогда называли), главной из которых была часовня на Грейт-Джордж-стрит. Эти походы в часовню стали для меня настоящим ударом. Раньше я как-то не задумывалась о тонкостях вероисповедания моего мужа, ведь он всегда ходил с нами в Чайлдволлскую церковь, и ни у кого не возникало вопросов, так как он не был католиком. Наконец, после свадьбы, рассудив, что это вполне приемлемо, раз уж он не принадлежит к тем, кого здесь называют сектантами, мы стали вместе посещать ближайшую церковь дважды каждое воскресенье; после обеда мы с радостью принимали у себя бывших друзей моего мужа — отлично воспитанных и состоятельных швейцарских джентльменов. Но (и тут возникает это самое «но») все они, разумеется, были всецело поглощены одним и тем же предметом — коммерцией. Мой муж был торговцем хлопком; он скупал в Ливерпуле американский хлопок для продажи германским, швейцарским и французским прядильщикам. Следовательно, главным направлением и смыслом нашей совместной жизни стала коммерция, и я впервые осознала, что представляет собой коммерческий мир. И он мне совершенно не понравился главным образом потому, что я в нем ровным счетом ничего не смыслила. Да и откуда мне было знать? До замужества я не была знакома ни с одним дельцом; к тому же я была напрочь лишена коммерческого чутья и понимания сути этого дела. Впоследствии я в полной мере пожала плоды своего невежества в деловых вопросах. У меня не было никакого интуитивного отвращения к бизнесу мужа, но хотя я с интересом и симпатией слушала рассказы о его спекуляциях, я не понимала главного вектора коммерческого мышления. Это объясняет, почему в интеллектуальном плане я так мало развилась за десять лет замужества. Впрочем, не думаю, что давала кому-либо повод так считать, ведь я сполна наслаждалась всем, что преподносила мне жизнь. Кроме того, я развлекала себя тем, что ставила всевозможные эксперименты в домашнем хозяйстве. Однако робкие попытки тех из нас, кто интуитивно стремился к чему-то иному и лучшему, не имели большого значения. Помнится, я была одной из первых подписчиц в Ливерпуле на женский журнал «Королева» (*The Queen*) и даже написала туда небольшую статью о том, как полезно избавиться от ковров, закрывающих полы целиком, отдав предпочтение натертому паркету, а также предлагала использовать новые каминные решетки. Мне всегда было жаль бедняков, которым приходилось стряпать на этих нелепых громоздких решетках, пришедших на смену удобным старым открытым очагам. Впрочем, уголь тогда стоил очень дешево — двенадцать или четырнадцать шиллингов за тонну, — и состоятельные люди редко допускали, чтобы знакомая им бедная семья оставалась без угля на Рождество.

Первая значительная статья, которую я написала, была подписана псевдонимом *Esme Suisse*. Это был рассказ о нашей с мужем поездке в тогда еще никому не известный Давос (кажется, это было в 1866 году). Очерк получился довольно объемным и, к моему удивле-

нию, был опубликован! Теперь я поражаюсь, как его вообще приняли, ведь я написала его как обычное письмо, исписав листы с обеих сторон; но, возможно, статья оказалась полезной и, без сомнения, была изрядно отредактирована издателем. Впрочем, никакого иного признания, кроме самого факта публикации, я не получила. Сдается мне, некоторые из моих друзей даже не поверили, что это написала я. А доказать мне было нечем. До замужества я также делала копии с картин маслом, принадлежавших моему отцу. Думаю, это были весьма ценные копии с работ Ван Дейка, сэра Годфри Неллера, сэра Питера Лели и Лоуренса, ведь отец собрал почти целую галерею дорогих полотен. Они достались нам от семьи моей бабушки Ловетт и не все были распроданы после смерти отца. Помню одну дивную картину: величественная женщина, облаченная в богатые багровые и темно-пурпурно-синие драпировки, на которых, казалось, не было ни единой пуговицы, но которые каким-то чудом держались на ее роскошных плечах. В руках она держала некое подобие округлой чаши из слоновой кости с крышечкой и смотрела прямо на вас — прекрасная, статная дама, запечатленная в великолепном колорите эпохи Ван Дейка. Не знаю, чьей кисти принадлежал этот портрет. Ее волосы — золотисто-каштановые и волнистые — были разделены на прямой пробор, как у богини, но отнюдь не мраморной. Я часами разглядывала эти прекрасные оттенки пурпура, коричневого, малинового и золотого и клялась себе, что стану художницей, но мне так и не довелось написать столь же прекрасную даму. Когда я все же стала художницей, мои вкусы поначалу были несколько искажены сильным увлечением творчеством Альма-Тадемы. Позже я не раз жалела, что вообще увидела его картины. Я до сих пор восхищаюсь им, но его техника была для меня совершенно неподходящей для подражания. Картина «Клеопатра после битвы при Акциуме», которую я написала в период увлечения Альма-Тадемой, уже будучи вдовой, выставлялась, кажется, в Галерее искусств Уокера в 1879 году и была приобретена мистером Уильямом Кросфилдом из Эйгберта; она и по сей день находится в его доме. У меня сохранилась записка куратора: «цена 70 фунтов». На мою картину поступило три предложения о покупке по этой повышенной цене.

ГЛАВА VI. СТАРЫЙ ЛИВЕРПУЛЬ

Моя замужняя жизнь в Ливерпуле, а точнее в его пригороде под названием Эйгберт, была внезапно прервана (к тому времени мое собственное здоровье полностью восстановилось) болезнью моего мужа. Еще до нашей помолвки он провел зиму в Малаге из-за того, что слег с недугом, который сам называл *Brustkrankheit* (грудная болезнь) — словом, куда более точным, чем английское *consumption* (чахотка) или французское *poitrinaire* (легочный больной), — и главным последствием этого недуга стала предрасположенность к легочным кровотечениям. В связи с этим было решено, что он оставит свой весьма процветающий тогда ливерпульский бизнес, благо торговля в Александрии во многом была схожа: тамошние коммерсанты могли скупать выращенный на месте египетский хлопок — лучший из всех — и сбывать его швейцарским, германским и французским прядильщикам точно так же, как сам он и другие фирмы скупали американский хлопок в Ливерпуле и переправляли его за границу.

Поэтому мы продали всю нашу мебель другу, мистеру Артуру Эрлу, третьему из младших сыновей сэра Хардмана Эрла, который в ту пору только что женился и подыскивал себе дом. Мы также продали наш экипаж и лошадь — «Графиню». Ни я, ни кто-либо другой никогда не называли «Графиню» иначе как «лошадью». Слово «кобыла» не было принято употреблять «в присутствии дам». У нас был прелестный фаэтон, и я с огромным удовольствием правила «Графинею», забирая мужа домой из его конторы на Олд-Холл-стрит. Наш конюх Джордж сидел позади, а я мчалась по Болд-стрит, Черч-стрит и Касл-стрит в хорошем темпе, правя нарядными белыми вожжами (что считалось последним писком моды для дамского выезда). Мной двигала абсолютная отвага, дарованная юностью и здоровьем, чему также весьма способствовала та совершенная свобода передвижения, которую в те дни обеспечивало скромное уличное движение. (От природы я обожала править экипажем и ездить верхом, и оба эти занятия были весьма распространены среди женщин всех сословий).

Как же отличались тогда Черч-стрит, Лорд-стрит, Дейл-стрит и другие центральные магистрали от того, что мы видим теперь! По Болд-стрит ходил лишь один весьма жалкий омнибус из Вултона да еще один из Эйгберта, каждый запряженный тройкой тощих лошадей, которые дважды в день неспешно плелись по своему маршруту. Мне неприятно думать о них, и я стараюсь не вспоминать лошадей торговцев и прочих животных, находившихся в услужении у широкой публики. Увы, их владельцы часто были жестоки и бессердечны. Как и сама публика. У всех нас были глаза, но мы оставались слепы.

Какая разница с той статной, изнеженной, лоснящейся каретной парой гнедых или вороных в сверкающей сбруе — красавцами с крутыми шеями, высоко вскидывающими ноги! Как они гарцевали под управлением своих гордых кучеров, проделывая свой десяти- или двенадцатимильный путь до Ливерпуля и обратно, пока их хозяйки в духоте укрывались внутри карет, всецело подчиняясь прихотям своего кучера. Ни один уважающий себя кучер и помыслить не мог бы подчиниться приказу госпожи вывести вечером тех же лошадей, если они уже пробежали свой путь из дома в город и обратно в течение дня. Поэтому обычно держали два или три менее нарядных экипажа и специальных лошадей для ночных выездов, которые предназначались главным образом для поездок на балы или званые обеды.

Воздух Ливерпуля в те дни был совершенно восхитителен. Как хорошо я помню соленые бризы во время переправы через реку, и каким Эльдorado казались мне берега Рок-Ферри и Вудсайда. Поистине, тогда Ливерпуль был приятным городом. Мы тогда были еще нецивилизованными, и Ливерпуль был тем, чем он был; теперь же мы цивилизованны, и Ливерпуль таков, каков он есть — всегда сохраняющий простор для улучшений. Признаю, подобное сравнение в высшей степени нефилософично и несправедливо. Но существует ли постоянный, подлинный прогресс, улучшение и реальное развитие во всех мелочах, или же просто меняются условия?

Любопытно, как мало людей по-настоящему задумываются о тех непрерывных, медленных переменах, которые никогда не прекращают своего действия, ведь мы, люди, тоже меняемся — медленно или быстро, но неизбежно. И вдруг, в одночасье, декорации сменяются. Поднимается незаметный занавес, и вот! — те же самые, казалось бы, неизменные люди выстроены в боевом порядке, а Общество совершило полный *volte-face* [крутой разворот]. И хотя в былые дни мы читали о «войнах и военных слухах», ни одно из новозаветных предостережений не считалось применимым к евангелическим британским христианам! Ах! Эти предвоенные дни в Ливерпуле, как полны они были беспечных, глупых сердец и легкомысленных поступков. В пору моего рождения и пятьдесят лет спустя мы, как нация, были сущими детьми по сравнению с нынешними массами.

Евангелическая религия — не лучший выбор для всеобщего блага, ибо тот факт, что мистическим истинам, которые она столь бережно хранит и проповедует, могут следовать и истинно верить лишь немногие, ведет к падению нравственности. Грех, по сути, остается сокрытым, если только он не разоблачен, и грешник не осужден обществом; и закономерным итогом этого становится благопристойный фасад жизни — вполне достаточный, чтобы закрепить за человеком репутацию добродетельного. Лицемерие тех дней, поддерживаемое невежеством высших классов и религиозных лидеров, было столь велико, что неизбежно должна была наступить реакция. В противовес евангелизму, католицизм — римский или англиканский — и агностицизм стали единственными учениями, интересующими молодежь. Они начинают смеяться над словом «грех». Значительно позже, в сочетании с этими движениями, возникает еще одно мощное течение, опутывающее своими щупальцами пытливые умы: спиритизм, пришедший на смену спиритуализму.

Истинный Оккультизм, равно как и его языческая имитация, станет следующим великим шагом человечества в странах Запада. Философский Мистицизм, подобно золотому сиянию, озарит всех нас, но слишком многие пока ослеплены мерцающими красками меньших огней, а потому христианский мир все еще ждет немалые испытания.

ГЛАВА VII. ШВЕЙЦАРИЯ И ЕГИПЕТ

Теперь я должна покинуть Ливерпуль и немного рассказать о своей жизни после замужества, в кругу семьи моего мужа.

Мой романтический склад ума все еще не находил удовлетворения, поскольку, как я теперь понимаю, я еще не получала настоящей духовной пищи. Я оказалась членом совершенно нового и малознакомого мира — бернского общества (имею в виду общество Берна, где родился мой муж), диаметрально противоположного богатому и роскошному миру Ливерпуля. Я опишу лишь один крошечный эпизод моей тамошней жизни, ведь все визиты в родовое гнездо моего мужа походили один на другой, хотя до его кончины мы бывали там не раз.

Замок Риггисберг находился примерно в двенадцати милях от Берна. Дорога все время шла в гору, среди поистине величественных гор, так что замок располагался на высоте около двух тысяч футов над уровнем Берна. Он не принадлежал к числу тех живописных старинных швейцарских шато, которыми так изобилует страна; правда, там была башня с древней винтовой лестницей, как во всех старых замках любой страны, но в остальном это был просто огромный квадратный старинный дом, ничем не примечательный. Образ жизни моей свекрови и ее семьи было трудно как понять, так и описать. Прежняя аристократическая швейцарская олигархия в результате Революции была лишена всякой политической власти, и в ее среде воцарилась величайшая простота быта⁷. Потерпевшие поражение лидеры аристократии, боровшиеся с пролетариатом, в последние годы удалились в свои поместья, живя на скромные средства в полном отрыве от какой-либо политической жизни.

Мой свекор, бывший членом правившей ранее аристократической администрации, передал демократическому правительству, пришедшему им на смену, мешок с деньгами, оставив народ свободным от всяких долгов — даже от государственного. Помню, я тогда подумала, что это был поистине благородный поступок, и так оно и было; но это также означало, что аристократы не сделали для народа ровным счетом ничего. В то время существовали лишь дворяне и крестьяне. Средний класс оставался незамеченным и обделенным вниманием, но постепенно и, возможно, незаметно, он получил образование, и правлению дворян пришел конец. Кажется, таков закономерный ход любой материальной революции. С тех пор средний класс правит в Швейцарии, а дворяне и крестьяне остаются почти без гроша, как и прежде, лишённые своих прав с обеих сторон. Чтобы дать исчерпывающий ответ, почему и как это произошло, пришлось бы ответить на огромный вопрос и изучить его в гораздо более широком смысле, нежели просто политическом.

⁷ Именно в семье мужа я впервые увидела плоды Революции, осознала причиненные ею разрушения и научилась испытывать страх перед Коммунизмом и последствиями так называемого Социализма в любой стране.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.